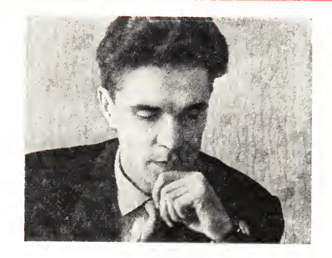


Борис
НИКОЛЬСКИЙ

МАЛЕНЬКОЕ СЕМЕЙНОЕ ТОРЖЕСТВО

ПОВЕСТЬ

1

Здравствуйте, Севастьяновы О. И. и Т. В.!

С приветом к вам ученики 5 «Б» класса. Если кто из вас еще проживает по тому адресу, какой мы написали на конверте, отзовитесь! Адрес этот мы нашли в записке, которая была спрятана в винтовочной гильзе. А гильзу отыскал наш ученик Бондаренко Саша. Записку ту писал ваш сын и муж Севастьянов Андрей Григорьевич. Напишите, выслать ли вам записку? Как ответите, сразу вышлем. Живем мы в Белорусской ССР, в деревне Заречье. На этом писать заканчиваем.

С пионерским приветом
Ученики 5 «Б» класса, красные следопыты
Бондаренко Саша, Вакуленко Лена, Черных Гена.

ТЕЛЕГРАММА

Заречье Белорусской Бондаренко Саше Вакуленко Лене Черных Гене

Дорогие ребята письмо получила глубоко тронута благодарна записку высылайте немедленно жду нетерпением.

Севастьянова Ольга Ивановна.

Рисунки
В. КРАСНОВСКОГО.

2

— Да,— сказала мама.— Это он. Это его почерк. Я не могу ошибиться. Видишь — он всегда писал букву «д»—хвостиком вверх...

Маленький клочок грубой бумаги умещался у нее на ладони. Мама подносила его к глазам, близоруко всматривалась в полустершиеся, криво разбегающиеся строчки.

Я молча стоял рядом. Я уже знал наизусть, что там было написано.

«Нас осталось двое. Сейчас немцы пойдут в атаку. Товарищ! Кто найдет эту записку, сообщи нашим родным: мы умерли, но не сдались.

Севастьянов Андрей Григорьевич,
Овчинников Петр Васильевич».

Дальше шли адреса, два, еще довоенных, адреса.

— Теперь я не сомневаюсь, это он,— повторяла мама,— он всегда так писал букву «д». Я еще смеялась над ним, хотела переучить...

Лучше бы она заплакала. Я чувствовал, как у меня у самого слезы подступают к глазам. Эта буква «д»...

— Да, да, это он... Боже мой, через столько лет!..

Я молчал, я не мог судить, я ведь почти не знал отцовского почерка.

Помнил ли я отца?

Мне казалось, что помнил.

Я родился 22 июня 1941 года. Теперь, когда мне приходится называть дату своего рождения, или заполнять анкету, или просто предъявлять паспорт, я часто замечаю, как задерживается взгляд человека, берущего мой документ, на этих цифрах. Слишком у многих навсегда осталась в памяти эта дата.

Три дня спустя после моего рождения мать выписали — роддом переоборудовали под госпиталь. Отец приехал за нами на машине, на черной «эмке» — кто знает, как удалось ему тогда раздобыть эту машину. Мать так часто рассказывала мне о том дне, что вся картина отчетливо возникала перед моими глазами. Отец уже был призван в армию, он с трудом вырвался всего на несколько часов, чтобы забрать нас и отвезти домой. Он стоял внизу, в вестибюле, а мама, держа меня, еще безымянного, спускалась к нему по лестнице, и они всматривались друг в друга, два родных, два близких человека, с тревогой, с болью и радостью — столь многое произошло, столь многое изменилось за те несколько дней, которые провели они в разлуке, что, казалось, и они уже не могли остаться теми же...

Отец бережно принял меня на руки, наклонился надо мной, и тут я открыл глаза и посмотрел на него. Больше никогда уже я не видел отца.

Иногда мне казалось, что я действительно помню эту минуту, это мгновение — лицо отца, склонившееся надо мной. Даже не память, а ощущение — что я в и д е л отца, что руки отца прикасались ко мне— это ощущение навсегда сохранилось во мне. В конце концов все то, что видит ребенок, младенец, даже в самые первые дни своей жизни, не может уйти, исчезнуть, не оставив следа,— наверняка все это как-то запечатлевается в душе человека. Может быть, это было наивно, но я верил, что от того, кто в эти первые дни брал тебя на руки, чьи пальцы прикасались к тебе — родные, ласковые или чужие — во многом зависит твоя будущая, уже взрослая жизнь...

— Нет, ты только подумай, какое счастье, что мы не переехали, не сменили адреса! Разве бы они сумели тогда найти нас? Через столько-то лет! Просто как чудо...

«Это, и правда, чудо»,— думал я. Тридцать лет гильза с предсмертной запиской отца пролежала в земле, тридцать лет...

Может быть, я вырос излишне чувствительным оттого, что воспитывался в доме, где не было мужчин, оттого, что моим воспитанием занимались две женщины — мать и бабушка; только, когда я увидел эту винтовочную позеленевшую гильзу, с такой бережностью упакованную в картонную коробочку, так старательно обложенную ватой, у меня вдруг сжалось сердце от нежности, от благодарности к этим ребятам, о которых я не знал ничего, кроме фамилий — Вакуленко Лена, Черных Гена, Бондаренко Саша, красные следопыты...

«Объявленная ценность — 3 рубля»,— было написано на посылке. И я представил себе, как совещались ребята на почте, как спорили друг с другом — какая же ценность может быть у такой посылки!

Посылку нам принесла почтальон тетя Лиза. Почти столько же, сколько я помнил себя, столько я помнил и тетю Лизу. Раньше она приносила письма бабушке, теперь приносит их мне. Тетя Лиза уже без малого двадцать пять лет работала здесь, без малого четверть века разносила почту в этом доме и хорошо знала всех жильцов, а все жильцы хорошо знали ее. Знали, что она одинока, что муж ее погиб на фронте, что раньше с ней жил племянник, но недавно он окончил техникум и уехал на Север, на Кольский полуостров, на строительство комбината. Журналы и письма тетя Лиза предпочитала не опускать в общий, разделенный на соты почтовый ящик, прибитый на первом этаже, а вручать лично. Она уверяла, что стоит опустить журнал в этот ящик, как его тут же утащат мальчишки, или нарочно переложат в соседнее отделение, или сотворят еще какую-нибудь пакость. Всех мальчишек она считала своими врагами и ругала всегда нещадно. Но все же истинная причина ее неприязни к этому давно уже введенному новшеству была совсем иная — просто тетя Лиза любила поговорить. Она была в курсе многих больших и малых событий, происходивших в девяноста квартирах старого пятиэтажного дома. На нее не сердились, к ней привыкли. И когда она появлялась во дворе дома в своем зеленом, выгоревшем на солнце платке, из-под которого беспорядочно выбивались седые волосы, и широким, решительным шагом направлялась к первому парадному, в доме говорили: «Вон идет наша тетя Лиза».

Когда еще была жива бабушка, тетя Лиза, бывало, подолгу засиживалась у нас и горевала вместе с ней, если приносила ей неутешительные вести. Бабушка все надеялась, все верила, что рано или поздно отыщется хоть кто-то, знавший ее сына, что когда-нибудь придет весточка о ее сыне. Куда только не писала она, куда только не обращалась! До последней минуты, до самой смерти не хотела смириться, ждала. Она так и умерла, надеясь. Уже тяжело больная, бабушка просила меня: «Взгляни, не идет ли тетя Лиза». Она умерла, ее не стало, гроб с ее телом уже опустили в могилу, а голос ее еще звучал с газетного листа: «Разыскиваю сына, Севастьянова Андрея Григорьевича...» Это последнее письмо она отправила в газету за неделю до смерти.

— Не дождалась Татьяна Васильевна...— вздохнула тетя Лиза, вручая маме посылку.— А уж так надеялась, так ждала...

И хотя между находкой ребят из деревни Заречье, между их письмом и теми письмами, которые рассылала бабушка, не было никакой связи, меня все-таки не оставляло чувство, будто это ее упорство, ее надежда сделали свое дело.

Теперь я ощущал свою вину перед ней. Я-то еще с детства свыкся с мыслью, что след моего отца за-

терян где-то в самом начале войны, что он, отец, так навсегда и останется без вести пропавшим. Когда я был маленьким, мне даже нравились эти слова: «Пропал без вести». Была в них какая-то тайна, загадка. Только потом, став старше, я понял, что стояло за ними. То упорство, с которым вновь и вновь рассылала бабушка свои письма-запросы, то нетерпение, с которым ждала она потом появления тети Лизы, казались мне всего лишь простительной старческой слабостью, не больше. Я не верил, а она верила. Я никогда не говорил ей об этом, но она-то угадывала, чувствовала это мое неверие, это мое снисходительное равнодушие...

Пока была жива бабушка, я в общем-то вполне самостоятельный, взрослый человек, здесь, дома, по-прежнему чувствовал себя мальчиком, ребенком. Наверно, правильно говорят, что мы становимся взрослее вовсе не с годами, мы становимся взрослее, когда уходят те, кто был старше нас. Вот не стало бабушки, и словно сработал какой-то тайный механизм времени, и незаметно на ее место передвинулась мать, и я сам словно шагнул. поднялся — или опустился? — на следующую ступеньку...

Однажды, когда проходила перепись населения, мы, все трое, долго и весело спорили, прежде чем заполнить графу «глава семьи». Получалось, что каждый из нас имел право называться «главой». Бабушка — по причине своего старшинства, мать — потому что приносила деньги, зарабатывала тогда больше всех, и, наконец, я сам — потому что мужчина. Кончилось тем, что главой все-таки провозгласили бабушку. Так и шутили потом: «Где наша «глава»? «Что сегодня «глава» приготовила на обед?»

Казалось, я лишь теперь заметил, как много седых волос появилось у мамы, как появились у нее некоторые манеры, привычки, которые раньше я замечал только за бабушкой... Вот и отцу моему тоже уже исполнилось бы пятьдесят. Только никак не мог я представить его себе седым, постаревшим, совсем иным вставал он в моем воображении.

3

Что знал я об отце? Пожалуй, ни бабушка, ни мама никогда не рассказывали мне о нем специально, никогда не говорили: «Твой отец поступил бы так-то» или: «Твой отец этого не сделал бы...» Они вспоминали о нем, как вспоминают только о самом близком человеке, каждая черточка которого хорошо известна, знакома — достаточно лишь одной фразы, намека, маленького эпизода, а порой и слова, чтобы человек снова ожил в памяти.

Бабушка:

— ...Я его никогда не наказывала. Разве что один раз... Как-то он слишком уж раскапризничался за обедом, и я его выставила из-за стола. Он упрямился, а я его схватила за руку и потащила в соседнюю комнату. А на другой день он заболел. Он оттого и капризничал, что уже расхварывался — это болезнь в нем говорила. Теперь, как вспомню, что тащила его через комнату, руку его худенькую в своей руке вспомню — так и мучаюсь... До сих пор себе простить не могу.

...Еще в тире любил стрелять. В выходной, бывало, придет мой брат, дядюшка его, и они отправляются в тир. Ждет всегда не дождется этого дня...

...Гербарии собирал. Хорошие у него были гербарии. Я все хранила их, все думала уберечь, даже в блокаду не трогала, да где уж там... Как вывезли меня, так все и пропало. Так горько, что не сумела сберечь — очень уж он ими дорожил...

...Однажды я подошла к нему вечером, перед сном, а он мне шепчет: «Мама, я не хочу быть взрослым!» Я удивилась: «Это почему же, сынок? Все хотят, а ты не хочешь?» — «Потому что ты тогда постареешь и умрешь. Лучше я не буду взрослым!»

Как будто судьбу свою предсказал...

Мама:

— ...Мы с ним в одном классе учились. Его Паганелем дразнили. Он вовсе и не похож был на Паганеля, просто увлекался своими гербариями — вот и дразнили. Обычно он не обижался никогда, а както я его назвала Паганелем — он вдруг обиделся, рассердился ужасно. Потом уже я догадалась отчего.

...Однажды в пионерском лагере на даче у одной хозяйки мальчишки украли яблоки. Хозяйка пришла. «Постройте,— говорит,— старших, я узнаю того, кто это сделал». Мальчишек построили, хозяйка пошла вдоль строя, приглядывается, а Андрей вдруг покраснел, алый весь сделался. Хозяйка на него и показала. «Вот он,— говорит,— голубчик, ишь краской залился!» А после выяснилось: совсем и не он это был, никаких яблок, конечно, Андрей не крал — просто не мог он вынести подозрения, стыдно ему было, что им такой досмотр, такую очную ставку устроили...

...На лыжах он любил ходить. Мы с ним в Павловск ездили кататься. Как хорошо там было в парке, как хорошо!..

Казалось, он так и ушел на войну мальчиком. Шагнул летним июньским днем на перрон вокзала, и сдвинулись, закрылись за ним двери теплушки — навсегда... И ни звука, ни отклика. Ушел, исчез, пропал без вести...

4

Мама убрала записку и гильзу в старую коробку из-под конфет, где хранилась моя метрика, единственное письмо от отца — только один раз разлучались они до войны: когда уезжал он на военные лагерные сборы, и только одно коротенькое письмо написал он оттуда; хлебная карточка за 1947 год, две маленькие фотографии отца, билет лотереи Осоавиахима, подаренный ей отцом накануне войны...

— Теперь надо попытаться найти кого-нибудь из родственников Овчинникова,— сказала мама.

Я и сам думал об этом. Только, наверно, найти их было не так-то просто. Иначе ребята из Заречья, те, что отыскали нас, конечно же, уже сделали бы это. Город В., областной центр, где тридцать лет назад жила мать Овчинникова, во время войны был оккупирован фашистами, сильно разрушен, а теперь отстроен заново, так что ее адрес, указанный в записке, наверняка изменился. Архивы в этом городе тоже вряд ли сохранились. И все-таки стоило попробовать.

В тот же вечер я написал письмо в адресный стол города. Я объяснил, что разыскиваю мать погибшего солдата, и очень просил помочь мне.

Ответ пришел неожиданно быстро.

«Уважаемый тов. Севастьянов!

По Вашей просьбе сообщаем Вам адрес Евдокии Петровны Овчинниковой...»

Теперь мне оставалось только написать Евдокии Петровне Я уже заранее испытывал расположение к этой женщине. Я представлял себе, как мы с мамой познакомимся с ней, как пригласим ее в гости или приедем в гости к ней, как будем переписываться...

Весь вечер мы говорили с мамой о ней уже как о близком человеке — нас роднила теперь память о любимых людях, а что может быть крепче?

Я думал, что завтра же сяду за письмо к Евдокии Петровне, но все получилось не совсем так, как я рассчитывал. Рано утром на другой день мне, лейтенанту запаса, вручили повестку из военкомата. Мне надлежало немедленно явиться на сборный пункт. Уже на сборном пункте я узнал, что начинаются большие войсковые учения.

5

Как резко вдруг изменилась моя жизнь!

Уже третьи сутки я не снимаю шинели. Мы спим прямо в снегу, на еловом лапнике. Ставить палатки запрещено, и мы сооружаем себе что-то вроде снежного чума. Днем маскируем бронетранспортеры, копаем укрытия, траншеи, ходы сообщения. Наша часть стоит в лесу, ожидая сигнала о наступлении.

Казарма, эшелон, погрузка и разгрузка — все это уже осталось позади. Я не успел и оглянуться, как очутился здесь, в белорусских лесах. Где-то тут, недалеко, погиб мой отец. Теперь я думаю об этом неотступно. И ребята, которые отыскали гильзу с запиской, тоже живут здесь, неподалеку. У меня нет карты, я могу лишь примерно определить, где мы находимся и куда двинемся дальше, и наши командиры пока молчат об этом — военная тайна, но все-таки места, где воевал отец, недалеко, это я точно знаю. Только нечего и думать сейчас попасть туда.

Мой заместитель — сержант Лавриков — он тоже призван из запаса — все время ворчит, сердится, что его оторвали от семьи, от работы, от кларнета, на котором он играет в самодеятельном оркестре: «И чего держат в лесу без дела? Тут воспаление легких запросто схватишь. Потом всю жизнь будешь на лекарства работать».

А я доволен. Стыдно сказать, но мне никогда раньше не приходилось бывать в настоящем лесу зимой. И такого ослепительно белого снега я никогда не видел. Заденешь за еловую ветку, и на тебя брызнет сверкающее облако снежной пыли. А тишина! Даже мы со своими бронетранспортерами, радиостанциями, походными кухнями не сумели нарушить ее — сами растворились, исчезли в ней.

Я уже начинаю привыкать к нашему лесному существованию: как будто я всю жизнь умывался снегом, спал, не раздеваясь, не снимая валенок, пробирался по ходам сообщения, вырытым в глубоком снегу... И к своему взводу за те несколько дней, что мы носим военную форму, я уже успел приглядеться, привыкнуть.

Больше других мне по душе солдат с забавной фамилией Катюшкин. Он тоже из запаса, совхозный механик. У него удивительная способность — исчезать, казалось бы, в самую нужную минуту и возникать так же неожиданно именно в тот момент, когда обойтись без него уже совершенно невозможно. Например, идет погрузка эшелона, скоро уже пора загонять на платформу бронетранспортер, водитель которого — Катюшкин, а Катюшкина нет.

— Катюшкин! — кричат солдаты.

— Где Катюшкин?

— Кто видел Катюшкина?

Никто не видел Катюшкина.

Я нервничаю, командир роты нервничает, командир батальона говорит:

— Я этому вашему Катюшкину сейчас всыплю на всю катушку!

Но именно в ту минуту, когда дело доходит до погрузки, Катюшкин возникает подле бронетранспортера и еще тащит за собой моток какой-то проволоки и деревянные бруски, без которых, как потом выясняется, и делать-то на платформе нечего.

Катюшкин невысок ростом, в плечах неширок и на первый взгляд даже может показаться тщедушным, только впечатление это обманчиво. Я давно уже замечал: бывают люди, у которых вся сила на виду, мускулатура, бицепсы так и играют, так и перекатываются — хоть сейчас на спортивную рекламу, а выйдет против такого атлета жилистый мужичонка, и еще неизвестно, кто кого скрутит, кто первый выдохнется. Вот и Катюшкин такой — жилистый.

Катюшкин старше меня, он родился еще до войны, в тридцать пятом.

— Нас восемь братьев было, восемь Катюшкиных. Два брата на войне погибли, один уже после войны на мине подорвался. И я, дурак малый, тогда все к минам тянулся, как вспомню, что выделывал, так и теперь холодный пот прошибает...

Мы лежим рядом на еловых ветках. В нашем самодельном жилище колеблется слабый свет от костра, плавает сизый, слоистый дым, ест глаза. То громче, то тише звучат голоса солдат. Кто-то рассказывает анекдоты, кто-то сквозь кашель клянет и дым и мороз, кто-то спорит о хоккее...

— Больше всего обожаю для жмурников играть.— Это голос сержанта Лаврикова.

— Для каких жмурников? — спрашивает кто-то.

— Ну, для покойников.

— Ну тебя, ты скажешь!

— А что — самое милое дело! — хохочет Лавриков.— Тут уж «капусты» не жалеют. Идем, бывало, пока не играем, баланду травим. Самый главный фокус — уметь грустную рожу выдержать. Без этого нельзя.

И кто только выдумал сделать его моим заместителем? Одно только название, что сержант. На самом деле мой заместитель — Катюшкин. Рядом с ним я чувствую себя увереннее, спокойнее.

Если бы полагалось взвод строить не по росту, а по степени надежности, по характерам солдат, я бы на правом фланге поставил Катюшкина, а Лаврикова бы отправил на левый, на самый край. Не знаю, может быть, мои суждения слишком поспешны, но, думаю, все-таки я бы не ошибся...

С часа на час мы ждем приказа о наступлении. И хотя мы знаем, что это только учения, от долгого, томительного ожидания на душе становится тревожно.

Мне не спится. Я опять думаю об отце. Какие люди окружали его, какие люди были рядом с ним в последние дни его жизни?..

Я поднимаюсь и осторожно, стараясь не наступить на спящих солдат, выбираюсь наружу, на воздух. Стоит ясная, морозная ночь. Высокое черное небо усыпано звездами. Тишина. И резкий скрип снега в тишине — кто-то торопливо идет сюда. Луч карманного фонарика упирается в меня.

— Кто здесь? — Голос ротного.

— Лейтенант Севастьянов.

— Поднимайте взвод! Надеть маскхалаты и по машинам! Быстро!

Рядом, за деревьями, уже звучат отрывистые слова команд.

— Взво-од! Тревога! — И опять — хоть знаю, что все это только игра, пусть серьезная, важная, в которой участвуют тысячи взрослых людей, но все же игра,— голос мой хрипнет и срывается от волнения.

Грохочут прогреваемые моторы бронетранспортеров, мелькают фигуры бегущих солдат, рушатся стены отслуживших свое снежных укрытий.

— Проверить снаряжение!

Автомат, лыжи, патроны, противогаз, лопатка, фляжка, вещмешок — все здесь, все при себе...

В белых маскхалатах, в касках наш взвод выглядит совсем по-боевому — будто и впрямь нам предстоит переходить настоящую линию фронта.

Один за другим, урча, выкатывают на дорогу бронетранспортеры; поднимая облака снежной пыли, выползают танки. Полчаса, час мы ждем своей очереди.

А машины все идут и идут. Они набирают скорость и исчезают в темноте — только грохот стоит над дорогой. Сколько же их было укрыто здесь, в лесу! Даже Лавриков перестает ругаться спросонья и завороженно смотрит на дорогу.

— Ё-моё,— говорит он.— Ну и силища!

Наконец нам дают команду. Катюшкин трогает бронетранспортер с места, машина вырывается на дорогу, и мы растворяемся в этом бесконечном и грозном потоке...

Мы движемся всю ночь. Теперь я уже знаю нашу задачу: выйти в район сосредоточения «противника» и прямо с марша стремительно атаковать его.

Поток машин все увеличивается. Они идут теперь во всю ширину шоссе, справа и слева от нас. Справа грохочет колонна танков, слева, надсадно ревя, тягачи тянут какие-то огромные прицепы. Потом тягачи отстают, а на их месте в предрассветном сумраке возникают силуэты реактивных минометов. А справа все идут и идут танки.

Нас трясет и швыряет в бронетранспортере, мы глохнем от грохота и рева моторов, уже не принадлежим себе — мы только частица в этой неотвратимо катящейся вперед лавине.

Неожиданно впереди возникает пробка. Тормозят, сбиваются в кучу передние машины, а сзади уже подпирают новые.

Что там случилось? Никто не знает. Какой-то ЗИЛ пытается проскочить стороной, по снежной целине и застревает, садится в снег по самые оси. По обочине шоссе, подпрыгивая на ухабах, проносится командирский «газик».

Кто-то, проваливаясь в снег и ругаясь, бежит туда же, вперед, к месту пробки. Через несколько минут тягач оттаскивает с дороги танк с лопнувшей гусеницей. Танкисты в черных комбинезонах хлопочут, копошатся возле него. Даже в предрассветной мгле можно разглядеть, какие несчастные, виноватые у них лица.

Замершие было колонны снова приходят в движение. Кажется, сама ночь дышит тревожным и грозным ожиданием.

Уже светает. Над дорогой висит морозная дымка. Я начинаю дремать и не замечаю, как дорога пустеет, только наши бронетранспортеры по-прежнему стремительно катят по ней. Или это мы свернули с шоссе?..

...По сравнению с грозным ночным движением, с тем ощущением мощи, которое я испытал ночью, наша атака выглядит куда бледнее. В том, как мы бежим за бронетранспортерами и палим из автоматов холостыми патронами и кричим «ура», есть что-то бутафорское, игрушечное. А ночью все было всерьез. Как на войне.

Впрочем, основные действия разворачиваются южнее. Оттуда доносится грохот взрывов, орудийная канонада, реактивные самолеты распарывают воздух...

К вечеру все уже кончено — нас отводят на отдых. Наш батальон останавливается возле деревни, и, пока мы гадаем, готовиться нам к ночевке здесь или нет, Катюшкин уже успевает исчезнуть и появиться вновь.

— Товарищ лейтенант, идемте! — зовет он.— Я насчет баньки договорился!

Я спрашиваю у ротного разрешение, и мы идем с Катюшкиным в деревню. К нам пристраиваются еще несколько солдат.

Сначала заходим в магазин. Выбор здесь невелик — сухой кисель, консервы, пряники, конфеты-подушечки.

— Будем пить чай,— с наслаждением говорит Катюшкин.

Мы покупаем конфет и мятных пряников. После семи дней, проведенных в лесу, одна мысль о том, что сейчас мы попаримся, а затем сядем за стол, доставляет нам невыразимое блаженство.

Теперь, когда я уже представляю, где мы находимся, когда знаю, что до той деревни, которую я мысленно называю деревней моего отца, добрых полторы сотни километров и что, видно, не судьба мне нынче добраться туда, я ощущаю, как сильна все-таки была надежда.

Около сельсовета я замедляю шаги. Здесь, на стене избы висит доска с именами жителей деревни, погибших в дни войны. Какой же длинный этот список!

БЫКОВ Петр
БОГДАНОВ Алексей
БОНДАРЕНКО Александр
БОНДАРЕНКО Иван
БОНДАРЕНКО Василий
БОНДАРЕНКО Ефим
БОНДАРЕНКО Степан
БОНДАРЕНКО Анна
БОНДАРЕНКО Прасковья
. . . .

Я чувствую, как комок подкатывает у меня к горлу. Медленно дочитываю список до самого конца, до последней строки.

Дальше мы идем молча. «Бондаренко» — эта фамилия сидит у меня в мозгу.

Среди тех ребят, что отыскали записку отца, тоже есть Бондаренко. И пусть это только совпадение фамилий, кажется, лишь теперь я начинаю по-настоящему понимать, отчего те ребята так бережно, так старательно упаковывали позеленевшую винтовочную гильзу...

Ни попариться, ни попить чаю мы не успеваем. Едва только мы подходим к дому, где ждет нас баня, едва только любопытная ребятня — мал мала меньше — высыпает нам навстречу, как нас догоняет солдат, посланный комбатом. Приказ — отправляться немедленно.

— Хоть бы молочка попили! — жалеет нас хозяйка.

Она торопливо выносит ведро с молоком, и мы пьем его, зачерпывая прямо из ведра кружкой. Молоко теплое, парное. Молочные усы вырастают у нас возле губ и тут же превращаются в иней. Хорошо!

Катюшкин с сожалением оглядывается на дымок, вьющийся над баней.

И снова ночная дорога. Что, куда—неизвестно. Поговаривают, что едем грузиться. И настроение уже совсем иное, чем прошлой ночью. А может быть, просто дает себя знать усталость. Схлынуло напряжение, и нас клонит в сон.

Под утро мы прибываем в военный городок, расположенный на окраине Н. Нас размещают по казармам. Здесь мы будем двое суток ждать погрузки.

6

Всю дорогу, пока я, получив разрешение у замполита полка, добирался до дома, где жила Евдокия Петровна Овчинникова, я старался представить себе эту женщину, старался представить, как она меня встретит. Что несу я в этот дом? Нужно ли ворошить старое и, возможно, уже утихшее горе? Может быть, я причиню только боль своим появлением? А может быть, эта женщина так же, как моя бабушка, все пытается отыскать след своего сына? И каждая весть о нем, каждое воспоминание дорого?

Дверь мне открыла невысокая, стриженная под мальчика девушка. На первый взгляд ей было лет восемнадцать, двадцать, не больше. В руке она держала книгу, заложив пальцем место, на котором застал ее мой звонок. Наверно, она ждала кого-то другого, потому что распахнула дверь с той беззаботной легкостью, с какой встречают только близких, хорошо знакомых людей. И теперь застыла на пороге, с удивлением разглядывая меня.

Наверно, и правда, вид мой способен был вызвать удивление. Солдатская шинель и лейтенантские погоны, кирзовые сапоги и офицерская портупея. Я и сам чувствовал себя уверенно и естественно в этой форме лишь до тех пор, пока находился среди таких же, как и я, офицеров запаса. Стоило же мне одному выйти за пределы части, оказаться в городе, и я начинал испытывать неуверенность и неловкость. Словно я был полувоенным-полугражданским, полуофицером-полусолдатом. Но судьба как будто нарочно распорядилась, как будто нарочно постаралась, чтобы я появился в этом доме не в своем обычном гражданском облике, а в этой армейской шинели, неумело затянутой портупеей.

Так мы стояли некоторое время, разглядывая друг друга, потом я спросил:

— Евдокия Петровна Овчинникова здесь живет?

— Здесь. Только ее сейчас нет дома. Но она скоро вернется. Она ушла в магазин. А что вы хотели?

Я пытался мысленно прикинуть, кем может приходиться эта девушка Евдокии Петровне. Внучка? Племянница? Может быть, квартирантка, студентка?..

— Видите ли,— сказал я,— мой отец когда-то воевал вместе с ее сыном. Они...

— Так значит, вам нужен мой папа?

— Папа? — Ослышался я, что ли?

— Почему вас так удивляет, что у меня есть папа? — засмеялась она.

— Погодите, погодите, дайте разобраться,— сказал я.— Как зовут вашего отца?

— Петр Васильевич.

— Петр Васильевич Овчинников?

— Ну да.

— И он был на фронте?

— Конечно. Вы же сами сказали, что ваш отец воевал вместе с ним! — Ее уже начинал раздражать мой допрос.

— Да, но...

Я растерянно смотрел на нее. Вот так новость! К этому я был готов меньше всего.

— Ой, что же мы стоим здесь! — вдруг спохватилась она.— Проходите в комнату. Бабушка сейчас придет. И давайте познакомимся. Меня зовут Вера.

— Анатолий,— сказал я.

В передней я снял шинель, оставил ее на вешалке. Потом долго возился с портупеей, просовывал ремень под погон, затягивал гимнастерку. Но все это я делал машинально, а сам все еще никак не мог прийти в себя от того, что услышал.

Овчинников жив. Мой отец умер, погиб, а Овчинников жив. Как это произошло? Что он за человек, этот Овчинников?

В комнате, куда провела меня Вера, ничто, пожалуй, не выдавало ни вкусов, ни привычек ее хозяев: стол, тахта, сервант, телевизор — обычная обстановка, как в сотнях других квартир. Разве что придирчивая забота о чистоте угадывалась по натертому до блеска паркету, на который мне своими кирзовыми сапогами и ступить было страшно. Казалось, так навечно и отпечатаются мои подбитые гвоздями подметки на этом беззащитно-нежном паркете.

Вера предложила мне сесть, а сама сразу же исчезла, сделав озабоченное лицо. Наверно, она просто не знала, о чем со мной говорить, а сидеть вдвоем с незнакомым мужчиной и молчать было неловко. Да и я со своей растерянностью, со своими вопросами скорей всего произвел на нее странное впечатление. А может быть, как раз почувствовав мою растерянность, смущение, она нарочно оставила меня одного.

Я слышал, как, напевая, она ходит по квартире — ее легкие шаги возникали то в коридоре, то за стеной, в соседней комнате. Так я сидел в одиночестве, тщетно пытаясь собраться с мыслями, до тех пор, пока не раздался звонок и не пришла Евдокия Петровна, Верина бабушка. Шепотом Вера что-то объясняла ей в передней. Потом шепот прекратился, и я увидел Евдокию Петровну Овчинникову.

Это была грузная, седая женщина, одетая со старческой небрежностью, или точнее с пренебрежением очень старого человека к тому, что могут сказать или подумать о его одежде. Лишь бы было тепло и удобно. Поверх платья на ней была надета байковая коричневая кофта, уже изрядно поношенная, а из-под нее выглядывала шерстяная жакетка.

Я поднялся навстречу женщине.

— Здравствуйте, Евдокия Петровна.

— Здравствуйте, молодой человек,— отозвалась она, без стеснения, в упор рассматривая меня, впрочем, вполне приветливо.— А я, как вошла, да как увидела шинель на вешалке, так у меня сердце и замерло...

— Ну что ты, баба Дуся,— откуда-то из глубины квартиры раздался веселый Верин голос,— не война же сейчас!

— Что ж, что не война. Не понять тебе, Веруша, сколько мы пережили. Помню, когда в сорок первом взяли Петю, сына моего, в армию, я вот так же пришла домой, а на вешалке шинель висит — как сейчас ваша. Я припала к ней головой, да как заплачу — всю ее слезами вымочила...

Она заговорила со мной так, словно я был ее давним знакомым, заговорила с той непосредственностью и открытостью, которая бывает свойственна только старикам и детям.

— Два раза я так на его шинели плакала. Один раз от горя, другой от радости. Это когда он вернулся. Завтра как раз день в день двадцать пять лет будет, как он домой вернулся. Мы тогда не здесь еще, на другой квартире жили. Да какая там квартира — комнату на две семьи делили. Занавеску повесили — так и жили. Вечером это было. Соседка мне говорит: «Дуся, к тебе». Я занавеску откинула и вижу: он, Петя, стоит. Худой, и шинелишка на нем старая. А я молчу, слова сказать не могу, ноги к полу приросли, двинуться не могу. Я ведь уже и не ждала, что живым его увижу. Как извещение в сорок первом получили: «Пропал без вести»,— так больше ничего и не было. Прижалась я к нему, плачу. «Что же ты,— спрашиваю,— весточки не прислал?» — «А я,— говорит,— мама, после плена болел очень, в госпитале лежал, думал, живым не выберусь. Вот

и решил: что же вам меня два раза хоронить, один раз похоронили, погоревали и хватит». Вот говорят все: снам не надо верить. А я его, Петю моего, во сне сколько раз больным видела! Будто маленький он совсем еще и ко мне руки протягивает, пить просит. Как в детстве, когда он корью болел. Тяжело он корь переносил, метался в жару, бредил...

Евдокия Петровна замолчала вдруг, то ли утеряв нить рассказа, то ли погрузившись в свои воспоминания, забыв обо мне.

Я тоже молчал. Я думал о своей бабушке, о матери своего отца. Как она верила, как ждала этого чуда! Я никогда не забуду, как однажды — мне уже исполнилось восемь лет, четыре года уже минуло после войны — мы были дома вдвоем с мамой, и вдруг вбежала бабушка. Она тяжело дышала, и на лице ее было какое-то странное выражение. Никогда раньше я не видел у нее такого лица. Она остановилась, увидела нас с мамой, увидела наши, обращенные к ней лица и поникла. Оказывается, издали она заметила, как в наше парадное вошел военный с вещмешком за плечами, и его походка, его манера взмахивать рукой... одним словом, ей почудилось, что это ее сын. Я был еще мальчишкой, ребенком, но я ощутил тогда эту боль, эту горечь возникшей было и тут же рухнувшей надежды. И я, может быть, впервые в жизни страдал от своего бессилия, от невозможности помочь любимому мной человеку. Постепенно, с годами, бабушкина вера в то, что ее сын вернется, слабела, гасла — теперь она уже хотела самого малого: чтобы нашелся человек, который мог бы рассказать о последних днях ее сына. Но даже и этого ей не суждено было дождаться...

— Отец-то ваш, говорите, вместе с сыном моим воевал? — очнувшись от своих воспоминаний, снова обратилась ко мне Евдокия Петровна.

— Да,— сказал я.— Он погиб в сорок первом.

И вдруг неожиданная мысль пронзила меня. Погиб в сорок первом? Но ведь я был уверен, что и Овчинников погиб тогда же. Ведь и его подпись стояла под этой запиской. А он жив. Может быть, и мой отец вовсе не был убит в том бою? И что за судьба тогда постигла его? Только один человек мог ответить теперь на этот вопрос.

— А мать жива?

— Жива,— сказал я.

— Замуж-то не вышла?

— Нет.

Евдокия Петровна участливо покачала головой.

— Вот она война, вот оно горе-то человеческое... И годы прошли, а оно все не проходит... Все не отпускает... Сколько мы тогда натерпелись, в сорок первом — и не приведи господи! Петя-то на второй день на фронт ушел добровольцем, а я с Катей, с дочкой младшей осталась. И как мы потом с беженцами отступали — вспомнить страшно! Немцы бомбят, а я лягу и дочку собой прикрываю — пусть хоть она, думаю, живой останется... Теперь Катя уже взрослая, муж у нее подполковник, на Севере живут.

— Бабушка, что ты все о нас рассказываешь! — снова подала голос Вера. Оказывается, она все время прислушивалась к разговору.— Может быть, человеку это совсем неинтересно.

— А неинтересно, он сам скажет,— обиженно отозвалась Евдокия Петровна.— Наверно, у него язык не хуже твоего.— И добавила, уже обращаясь ко мне: — Ой, и правда, я вас совсем заговорила. Старая стала — как начнешь вспоминать, так и не остановиться...

— Нет, нет, мне все интересно! — сказал я.

— А внучка,— вы не смотрите, что она на себя строгость напускает,— любит она меня. Бывало, еще маленькую отнесут ее к другой бабушке, а она — в рев. «Хочу,— говорит,— к бабе Дусе, хочу к бабе Дусе!» Это меня она бабой Дусей называет, а та — баба Таня.

— Бабушка, опять? — раздалось из-за стены.

— А ты, Веруша, чем замечания бабушке делать, лучше бы альбом принесла с фотографиями. Слышишь? Там карточка одна есть,— пояснила она мне,— где Петя с другими бойцами сфотографирован, может, и отца на ней найдете...

Я знал, что не найду своего отца на этом снимке, что мой отец и ее сын, вероятнее всего, оказались вместе уже позднее, когда было совсем не до фотографий... Но все-таки мне было любопытно посмотреть этот альбом.

Мне почему-то казалось, что Вера заупрямится и Евдокии Петровне самой придется идти разыскивать альбом. Но я ошибся. Вера больше не дичилась. Она принесла альбом — тяжелый, в голубом матерчатом переплете, с виньетками на обложке и металлической отделкой,— и сама не ушла, осталась с нами.

С первой страницы альбома на меня смотрел большелобый мальчик лет шести, в матроске. Он стоял так, как поставил его фотограф, послушно вытянув руки по швам, глядя прямо перед собой, но его лицо еще хранило отблеск самозабвенного, детского веселья. Видно было, он только что перестал смеяться. Черты лица его были несколько неправильны, но именно эта неправильность, асимметричность придавали лицу притягательность, заставляли пристальнее всмотреться в него.

— Это я его водила сниматься, когда ему шесть лет исполнилось,— сказала Евдокия Петровна.

Дальше шли семейные любительские фотографии: какие-то люди сидят за столом в саду, под деревом. Те же люди на крыльце дома, на переднем плане — две девчонки с бантами и тот же мальчик в матроске, только уже подросший, вытянувшийся, матроска мала ему. Какая-то хохочущая женщина в сарафане полуобняла мальчика за плечи, притянула к себе.

— Трудно узнать?

Ну, конечно же, это она, Евдокия Петровна, совсем еще молодая. Сорок лет разделяют эту хохочущую женщину и теперешнюю грузную старуху — только глаза остались те же. Какой беспечностью, каким счастливым неведением веяло от этих довоенных любительских снимков!..

А вот опять он, Петр Овчинников, уже школьник. Вот он с одноклассниками, вот с маленькой сестренкой, вот один, сидящий за книгой...

Кажется, и не фотограф вовсе, а само время щелкало затвором фотокамеры: щелчок — и еще год прошел, щелчок — и детская челочка сменилась полубоксом, щелчок — и вот уже галстук завязан толстым неумелым узлом, щелчок...

Гимнастерка топорщилась на нем, и пилотка сползла на затылок. Да и на остальных военная форма сидела не лучше. Как, когда успели они сфотографироваться, шестеро призывников сорок первого года? Конечно, среди них не было моего отца, не могло быть. Я и не надеялся его увидеть.

Я вглядывался в лицо Овчинникова — всего несколько дней оставалось до того, последнего боя. Таким открытым было это лицо, так отчетливо читалось на нем мальчишеское тщеславное упоение новенькой военной формой, такое детское бесстрашие, такая радостная готовность выполнить все, что потребуется, угадывалась в этом прямом взгляде...

Неужели и отец мой, снимись он тогда, выглядел бы так же? Впрочем, отец был старше...

— Фотографии эти чудом уцелели,— сказала Евдокия Петровна.— Они у меня с документами хранились. Я, как от немцев спасаться стали, вместе с до-

кументами их и схватила. Вот и вышло — вещи пропали, а фотографии остались. Уж так я потом радовалась, что хоть на карточке Петю моего вижу... Бывало, возьму карточку и разговариваю с ним...

Я перевернул страницу альбома.

И снова передо мной было лицо Овчинникова. Только какая разительная перемена произошла с ним! Оно исхудало, черты его обострились, стали жестче, глаза глубоко запали и смотрели отчужденно и измученно. Казалось, не пять, а пятнадцать лет пролегло между двумя этими снимками. Да и не в годах было дело, не время изменило это лицо. Та неправильность черт, та асимметричность, которые на детских фотографиях привлекали, притягивали обещанием неординарности, теперь, обозначившись резче, определенней, придавали лицу выражение угрюмой, болезненной замкнутости.

— Таким он вернулся,— сказала Евдокия Петровна.— Я только одного тогда боялась: чтобы не слег он, не заболел. Каждый кусок, что получше, для него берегла. Но, слава богу, обошлось. Первое время по ночам во сне он стонал сильно. Я проснусь, разбужу его, спрашиваю: «Болит что или сон какой снится?» «Нет, ничего,— говорит,— мама». Потом уснет, а я лежу до утра, заснуть не могу, сама своему счастью не верю. Так и стала наша жизнь налаживаться. Работать на завод он пошел, заочно в институт поступил. Сначала-то ему из дома и выйти не в чем было — все ту шинелишку он таскал. Я ее до сих пор храню. «Выбрось ты ее»,— Петя мне говорит. А как я ее могу выбросить, разве рука поднимется? Вот когда умру, пусть тогда и делают, что хотят, пусть выбрасывают, они молодые, им виднее...

— Ну-у, баба Дуся,— укоризненно протянула Вера.

Ласково посмеиваясь, она смотрела на бабушку. Только сейчас я вдруг заметил, какие мягкие, какие ласковые у нее глаза. И улыбка у нее была особенная — она возникала медленно, словно всплывала откуда-то из глубины, постепенно освещая лицо.

— Бабушка у нас любит поворчать,— сказала Вера.— Но вы ее не бойтесь, она у нас добрая, правда, баба Дуся?

— Ой, заговорилась я с вами! — спохватилась Евдокия Петровна.— А мне ведь на завтра еще студень готовить надо! Мы этот день, когда сын мой, Петя, вернулся, каждый год у себя дома отмечаем.

— Папа говорит, это его второй день рождения,— вставила Вера.

Я продолжал машинально листать альбом. Он уже подходил к концу. Несколько фотографий, заложенных между страницами, выпали и веером разлетелись по полу. Я нагнулся, чтобы подобрать их. На одной из карточек я увидел Веру с отцом. Наверно, фотографировались они на юге — возле какого-то маленького водопада. Лицо отца было не разобрать, он стоял вполоборота, и глаза его закрывали темные очки. Зато Вера вышла отлично. Она наклонилась к воде, рука ее застыла в полувзмахе, глаза светятся веселым озорством, еще секунда — и брызги холодной воды полетят в отца... Что-то давнее напомнила вдруг мне эта фотография, было в ней что-то похожее на прежние, еще довоенные, снимки — та же счастливая беззаботность угадывалась в ней...

— Ладно, ладно, это уже не имеет исторической ценности,— сказала Вера, отбирая у меня альбом.— Вот папа узнает, он нам еще покажет! Он не любит воспоминаний. Да вот и он сам!

Она замолчала, и я услышал, как во входной двери поворачивается ключ.

Занятый разговором с Евдокией Петровной, рассматриванием альбома, я, кажется, так и не успел приготовиться к этой встрече...

7

Опять я остался один. Опять я слышал торопливый, объясняющий шепот в передней, слышал, как раздевался Овчинников, как прошел он по коридору, как мыл под краном руки... И чем дольше не появлялся он в комнате, тем напряженнее я себя чувствовал. Не знаю, может быть, на меня подействовало то выражение угрюмой, болезненной отчужденности, которое я увидел на послевоенной фотографии, или брошенная Верой фраза: «Он не любит воспоминаний»,— только мне показалось, что с его приходом что-то изменилось в атмосфере этого дома, словно вдруг потянуло холодом. Бывают тяжелые люди, которые сами страдают от своего характера, от своей холодности, от своей необщительности, но ничего не могут поделать с собой. Почему-то теперь Овчинников представлялся мне именно таким. Еще не познакомившись с ним, я уже испытывал к нему и сочувствие и почти родственную близость — то чувство, которое я впервые ощутил, приступая к розыскам этой семьи,— и какую-то странную робость, почти переходящую в неприязнь... За те несколько минут, которые я оставался один, я уже успел навоображать невесть что.

— Здравствуйте.

Передо мной стоял невысокий худой человек, в котором я, если бы полагался лишь на фотографии, вряд ли узнал бы Овчинникова. Я видел перед собой самое обыкновенное лицо усталого пожилого человека, лицо, на котором нелегкая жизнь, недоедание и болезни уже оставили свои приметы: обвислые мешки под глазами, коронки на редких передних зубах, глубокие залысины... Самое обычное лицо, которое можно увидеть в автобусе, переполненном служащими, торопящимися на работу, или в очереди у газетного киоска, или в толпе мужчин, возвращающихся после матча со стадиона. То ли сгладилась со временем неправильность черт, которая притягивала меня, когда я разглядывал фотографии, то ли рядом с явственно выступившими приметами старости она уже не бросалась в глаза, как раньше...

Овчинников скользнул взглядом по моей гимнастерке, по моим погонам.

— С маневров?

— Да,— сказал я.

— Не курите?

— Нет.

— А я закурю.

Он достал пачку «Беломора», вынул папиросу и, разминая ее в пальцах, пристально посмотрел на меня. Лишь теперь я заметил, что правое веко у него время от времени прикрывается, словно вдруг тяжелея. И тогда лицо его приобретало то выражение болезненной настороженности, которое я уловил на снимке.

— Ваш отец был в плену?

— Нет.— Я покачал головой.

— Так с чего же вы решили, что я смогу вам помочь, что я знаю его? Как фамилия вашего отца?

— Севастьянов,— сказал я.— Севастьянов Андрей Григорьевич.

Правое веко, вздрогнув, прикрылось. Овчинников затянулся папиросой.

Я молча ждал, что он ответит. Эта минута решала многое.

— Так вот оно что,— сказал наконец Овчинников.— Значит, ты сын Севастьянова?— Наверно, он и не заметил, как у него вырвалось это «ты».— Да, я знал его. Он погиб у меня на глазах.

До сих пор мне казалось, что возможно какое-то недоразумение, какая-то ошибка. И еще я опасался,

вдруг он скажет: не помню. Или начнет темнить — ведь черт его знает, как это могло случиться, что мой отец погиб, а он жив. Но он сказал правду, и я это почувствовал.

— Вы хорошо помните его? — спросил я.

— Помню.— Он опять затянулся папиросой и закашлялся. Кашлял он мучительно. Даже смотреть на это было тягостно. Казалось, что-то рвется у него в груди. Лицо его побагровело, и слезы выступили на глазах. Наконец, когда кашель отпустил его, Овчинников сказал: — Как же вы все-таки нашли меня? Узнали откуда?

Я пожалел, что у меня не было сейчас с собой записки. Тогда бы мне ничего не пришлось объяснять. Я бы просто протянул ему записку и все. А кроме того, мне хотелось увидеть своими глазами, как возьмет он эту записку, как взглянет на нее. Мне важно было это увидеть. Но откуда же я мог знать, когда собирал вещи, поименованные в военкоматовской повестке, что случай приведет меня в этот город?

Я рассказал Овчинникову все, начиная с того дня, когда мы с матерью получили письмо от ребят из белорусской деревни Заречье.

Он слушал меня чуть удивленно, чуть недоверчиво, не перебивая, с тем сосредоточенным, почти угрюмым вниманием, которое присуще малоразговорчивым, замкнутым людям.

— Так вот я и добрался до вас,— сказал я.

Овчинников молчал, глядя на дымок папиросы, лежавшей на краю пепельницы.

Вспоминал ли он тот далекий летний день сорок первого года? Думал ли о моем отце? Или просто подбирал слова, которые должен был сейчас сказать мне?

Я не торопил его, я тоже молчал.

— Дошла, значит... сохранилась...— сказал он, с трудом, казалось, преодолевая молчание.— Верно. Севастьянов ее писал, отец ваш.

— Расскажите, как это было,— попросил я.

— Как было...— Опять он задумался, опять надолго погрузился в молчание. Правое веко, медленно тяжелея, снова поползло вниз, прикрывая глаз.— Как было... Попали мы в окружение... Тогда, знаете, что самое страшное было? Что ничего не понять. Где немцы, где наши — ничего не известно. И главное — мы ведь были уверены, что это только с нами такая беда случилась. Мы-то будущую войну себе совсем по-другому представляли. Что нам тогда было? Вашему отцу едва за двадцать перевалило, так ведь? Мне и того меньше... Остатки нашего полка собрал какой-то майор, фамилии его я не помню, помню только, что голова у него была перевязана, вывел к дороге и велел окапываться. Сказал, что есть приказ оборонять эту дорогу. Я теперь думаю, это он нарочно сказал, чтобы нас подбодрить, чтобы мы видели, будто кто-то еще знает о нашем существовании. А может быть, он и правда получил такой приказ, не знаю. Но мы действительно бодрее себя почувствовали. Целые сутки удерживали мы эту дорогу. Немцы, видно, не ждали встретить здесь сопротивление, в открытую сначала шли — мы их много тогда положили. Два танка подбили. Потом немцы еще три раза в атаку ходили. Что мы за те сутки вынесли, что пережили — трудно сказать... На следующий день к вечеру нас совсем уже мало осталось. И майора, который нами командовал, тоже убило. Патроны у нас кончались. Тогда Севастьянов и решил эту записку написать. Мы с ним все время вместе были, еще раньше держаться друг друга договорились. Мы уже знали, что живыми нам отсюда не выбраться. Он мне еще сказал: «Если,— говорит,— меня ранят, ты пристрели меня, чтобы к фашистам не попасть». Немцы нас обошли, они уже со всех сторон были...— Овчинников взял погасшую папиросу, долго чиркал спичкой по коробку, руки его не слушались.— Ну вот... Потом я увидел, как он ползет с гранатой навстречу немцам... Тут рядом со мной мина разорвалась, меня оглушило. Когда я немного пришел в себя, вижу: он лежит неподвижно и рядом — убитый немец...

— А вы? Что с вами было? — спросил я.

— Меня ранило. Очнулся я уже у немцев, в плену.

«Если бы отца ранило, он бы тоже, может быть, остался жив»,— подумал я. Имел ли я право желать того, чего не хотел и больше смерти боялся мой отец?.. «Если меня ранят, ты пристрели меня»,— сказал он. Я почувствовал озноб, когда произнес про себя эти слова. Овчинников курил, сильно затягиваясь, кашлял и снова курил.

— Петя, ты же знаешь, тебе нельзя курить!

Я и не заметил, как новое лицо появилось в доме. Жена Овчинникова.

— И волноваться тебе вредно.— Она неодобрительно покосилась на меня, сдержанно поздоровалась.

— Это я виноват. Простите,— сказал я.

— Вы знаете, он только год, как перенес инфаркт.

— Ладно, мать, оставь нас. Лучше выясни, что там с обедом. Нас, кажется, хотят уморить голодом... Все вредно,— сердясь, сказал он, когда жена вышла.— Курить вредно, вспоминать вредно, волноваться вредно. А в общем-то, я действительно не люблю вспоминать. Вам первому, пожалуй, рассказываю. Все равно словами не рассказать, что тогда происходило, что мы тогда испытали. Только кто сам пережил, тот знает. Да я и сам, как оглянусь назад, не верю, что это все со мной было. Кажется, совсем с другим человеком. Да так, наверно, и есть, что с другим. Между мной тогдашним, восемнадцатилетним, и тем, что я теперь, сколько всякого жизнь понаворотила!..

Он говорил сейчас о том же, о чем я думал совсем недавно, разглядывая снимки в фотоальбоме.

— А отца вашего я хорошо помню. Постойте... Вы ведь родились в первый день войны, верно? Вот видите, я и это помню. Крепкий он был человек. Крепче многих из нас...

— А место, где этот бой был, где отец погиб, вы помните? — спросил я.

— Помню ли? Мне казалось, я его с закрытыми глазами найти смогу. А когда приехал туда первый раз, путаться начал. Все вроде и так и не так. Шутка ли сказать — столько лет прошло! Но отыскал все-таки, нашел. Да если хотите,— после некоторой паузы сказал он,— мы завтра можем съездить туда. Отпустят вас? Это недалеко, два с половиной часа на автобусе.

Он еще спрашивал, хочу ли я, отпустят ли. Да если понадобится, я дойду хоть до самого генерала и сумею убедить его. Разве он не поймет? Разве сможет отказать? Военный-то человек!

«Вот как удивительно иногда бывает,— думал я.— Овчинников здесь, рядом — рукой подать до Заречья, даже ездил туда, а ребята и не подозревали об этом. И записка нашла не его, а меня... А впрочем, наверно, так и должно было быть — ведь записку писал *мой* отец...»

— Ну раз отпустят, тогда съездим завтра с утра пораньше, а потом, если у вас нет других планов, давайте опять к нам — у нас завтра, знаете ли, маленькое семейное торжество...

— Да, я уже слышал, спасибо,— сказал я.

— Это все женщины стараются,— пояснил Овчинников с легким смущением.

Мне все казалось, что я еще о чем-то должен спросить его, я все боялся забыть, упустить что-нибудь важное, что касалось моего отца, но теперь я успокоился: если и забыл что, к завтрашнему дню обязательно вспомню.

Я стал было прощаться, но тут появилась Евдокия Петровна, грузной своей фигурой загородила мне дорогу, замахала на меня руками.

— И не думайте, и не думайте, никуда я вас не отпущу. Или вы считаете, что в вашей столовой вас накормят лучше, чем здесь?

— Да я...

— Не отказывайтесь,— сказала Вера.— Все равно у нашей бабушки отказаться невозможно. Она однажды жулика, воришку умудрилась усадить за стол. Не верите? Честное слово! Он под видом водопроводчика ходил по домам.

— Ничего себе, хорошенькое сравнение! — сказал я.

— Ой! — Вера засмеялась, смутилась, покраснела. Краснела она отчаянно — почти до слез.— Я не хотела вас обидеть.

— Наша Вера сначала говорит, потом думает, есть у нее маленький недостаток по этой части,— сказала ее мать.

— Ты бы, Верочка, лучше пригласила человека как следует, чем надо мной подшучивать,— сказала Евдокия Петровна.

Я остался. Честно говоря, мне хотелось остаться. Мне все больше нравилось в этом доме. Даже то недовольство, то опасение за здоровье Овчинникова, которое я время от времени ловил во взгляде его жены, я понимал и оправдывал. Здесь все любили друг друга и заботились друг о друге. Так, во всяком случае, мне казалось.

Пока была жива моя бабушка, у нас тоже, когда мы сходились за столом, чувствовалась семья. Но одно место за нашим столом всегда пустовало. Я вспомнил теперь, как мы спорили, кого считать главой семьи. Тогда нам казалось, что спорим мы очень весело, но в общем-то веселого было мало. Веселье от горя. Теперь я особенно ясно почувствовал это.

Потом мне трудно было припомнить, о чем мы разговаривали за столом. Так, о разных пустяках, обо всем понемногу. Вера больше не стеснялась меня — она была оживленна, шутила, и, глядя на нее, я радовался тому, что наше знакомство не оборвется сегодня, что завтра я опять увижу ее. Я спросил ее, где она учится.

— В медицинском,— ответила она.

— Вера еще маленькой была, все кукол лечила,— сказала Евдокия Петровна.— Теперь на одни пятерки учится, отличница. Слава богу, нынче жизнь изменилась, а то вы себе представить не можете, сколько мы в свое время пережили — на Петра везде косо смотрели: был в плену. И когда Верочка родилась, за нее переживали — с детства уже анкета испорчена. А что вы думаете, могли и в вуз не принять из-за этого, такие тогда были порядки...

— Мама, опять ты за свое,— сказал Овчинников. Он один был сумрачен и молчалив за этим столом.

— Ой, и правда, что это я всем настроение порчу!

«Если бы был жив мой отец, неужели бы я стал переживать из-за каких-то анкет? — подумал я.— Если бы он был жив...»

— Что ж вы не едите совсем? — спохватилась Евдокия Петровна.— Или не нравится? Вы не стесняйтесь, чувствуйте себя, как дома, у своей мамы.

— Я не стесняюсь.

Я никогда не отличался особой общительностью, рядом с малознакомыми людьми обычно испытывал неловкость и скованность, мне приходилось делать усилие над собой, чтобы заговорить, чтобы найти тему для разговора, но сейчас у меня и правда было такое ощущение, будто я давно знаю этих людей и они давно знают меня. Впрочем, может быть, оттого так легко и возникло это ощущение, что я уже заранее, еще не имея представления, кто меня встретит здесь, еще не видя этих людей, уже был расположен к ним. Но странное дело — чем проще, чем свободнее я чувствовал себя в этом доме, чем веселее становилось за этим столом, тем отчетливее поднималось во мне какое-то непонятное беспокойство, какое-то смутное, тревожащее недовольство собой, причину которого я не мог определить...

8

Вечером я рассказывал Катюшкину о своей поездке в город, о встрече с Овчинниковым — я слишком был полон впечатлениями сегодняшнего дня, чтобы с кем-нибудь не поделиться ими.

Я рассказывал о своем разговоре с Овчинниковым, я старался не упустить ничего, я повторял каждую его фразу и словно заново вслушивался в то, что говорил мне сегодня этот человек. И вдруг я остановился, споткнулся, пораженный одной мыслью. Как она раньше, еще там, в доме Овчинникова, не пришла мне в голову!

«Постойте... Вы ведь родились в первый день войны, верно? Вот видите, я и это помню...» — сказал он мне, и тогда меня даже растрогали эти его слова. А теперь вдруг они обернулись другой стороной, другой свет лег на них. Если все так хорошо, так отчетливо сохранилось в памяти Овчинникова, отчего же не пытался он разыскать нас с матерью?

— Понимаешь, если бы он не помнил,— говорил я Катюшкину,— если бы забыл... Но он помнил! Столько лет помнил!.. Знал же он, как важна для нас любая весточка об отце, не мог не знать. Что же мешало ему? Характер? Или он виноватым себя перед нами чувствовал оттого, что жив остался, а отец погиб, не вернулся?

— Какая ж вина в том, что человек жив остался? — рассудительно сказал Катюшкин.— Это уж у кого какая судьба. Вон мой братан старший пять раз был ранен и всякий раз опять на фронт возвращался. Его под Прагой убило, мы извещение через три недели после Победы получили. Мы-то нарадоваться не могли, что война кончилась, что он живой, а его уже схоронили. Вот как бывает. А наш сосед — его только один раз ранило, так он и дома очутился. Не винить же его теперь. Кому как повезет.

— Человек сам себя винить может,— сказал я.

— Тот, кому есть за что, тот себя не винит,— с прежней рассудительностью сказал Катюшкин,— а тот, кому не за что, только напрасно мучается...

Наверно, он нарочно так говорил, чтобы успокоить меня, но я не мог успокоиться.

Мы сидели с Катюшкиным на табуретках возле моей койки. Катюшкин вырезал из обломка зубной щетки какую-то фигурку, остальные солдаты — одни играли в домино, другие бесцельно бродили по казарме; сейчас они почти ничем не напоминали тех подтянутых, напряженных солдат, которые стояли передо мной в белых маскхалатах, в касках, готовясь погрузиться в бронетранспортеры. В казарме царила атмосфера томительного ожидания, какая бывает всегда перед отправкой домой, когда командиры тщетно пытаются занять солдат каким-нибудь делом, но и командиры и солдаты знают, что главное уже позади, главное свершилось, и остается только терпеливо ждать свой эшелон...

— Может быть, он и пробовал вас разыскать, да не удалось,— предположил Катюшкин.

— Ну, неужели бы он не сказал об этом?

А может быть, он все эти годы пытался уйти от войны, забыть ее? Имел ли я право осуждать его за это?

Но неужели никогда за все тридцать лет не возникало у него желания найти мать человека, который погиб на его глазах? Не мог же он не чувствовать, что должен был сделать это?

Снова перебирал я в памяти весь разговор с Овчинниковым, каждую паузу, каждый его взгляд.

«Крепкий он был человек»,— сказал Овчинников о моем отце. И добавил: «Крепче многих из нас». Что скрывалось за этим, словно невзначай вырвавшимся признанием? Что?

Сколько ни ломал я голову, сколько ни думал, а все приходил к одному и тому же.

Он чувствовал вину. Вину перед моим отцом. Потому и не искал нас.

Других объяснений не было.

9

Мы вышли из автобуса на развилке дорог. Автобус покатил дальше, и мы остались вдвоем с Овчинниковым на пустынном шоссе.

День начинался солнечный, яркий, снег слепил глаза.

— Нам направо. Идемте,— сказал Овчинников.

Он двинулся по тропинке, протоптанной в снегу, на обочине дороги, и я пошел за ним.

Так мы шли минут сорок, было тихо, никто не попадался нам навстречу. Вдоль дороги, справа и слева, тянулся молодой лесок, и каждый раз, когда за деревьями открывалось свободное пространство, волнение охватывало меня, я напрягался в ожидании, что сейчас Овчинников скажет: «Вот здесь». Но он молчал, и мы шли дальше.

Полы моей шинели хлопали по сапогам. Всегда я чувствовал себя штатским человеком, и профессия у меня была самая что ни на есть штатская, но вот сейчас я приду к отцу, к месту его последнего боя, в армейской шинели, и это, наверно, очень правильно. Так и должно было быть.

— Знаете, что странно,— сказал Овчинников, оборачиваясь.— Кажется, столько лет прошло, люди и забывать войну должны, а нет, наоборот, я замечаю: теперь-то как раз и тянет людей к местам, где они воевали. Раньше, после войны, такого не было. Стареем, что ли?..

Он шагал уверенно, не задерживаясь — видно, и правда уже не раз и не два бывал тут.

Лес кончился. Перед нами по обе стороны дороги лежало снежное поле.

— Вот здесь,— сказал Овчинников.

Поле сбегало вниз, под уклон, к небольшой, замерзшей сейчас речке. По берегам речки чернели кусты, деревянный мост возвышался над ней. Вдали, за речкой, виднелась деревня, белые дымки вились над избами. Вокруг по-прежнему было безлюдно, только возле моста ребятишки катались на санках. Их темные фигурки отчетливо выделялись на фоне снега. Как на картинке из букваря.

Вот моя деревня,
Вот мой дом родной,
Вот качусь я в санках
По горе крутой...

Почему, отчего всплыли вдруг в моей памяти эти бесхитростные строчки? Кажется, совсем о другом я думал, совсем другим были заняты сейчас мои мысли... Но таким миром, таким покоем веяло от этого снежного простора, от этой тишины, от этих дымков, струящихся над избами, что невольно охватывало меня чувство, словно после долгого отсутствия я вернулся наконец в полузабытые родные места.

— Вот тут были наши окопы,— сказал Овчинников.— А немцы вон оттуда шли, от деревни. Теперь я понимаю, они, видно, таким образом к шоссе стремились выйти, а мы им мешали...

Я молча смотрел на заснеженное ровное поле, пытаясь представить, что происходило здесь тридцать лет назад. Может быть, если бы не было снега, мне это было легче. Как будто не время стерло, а только снег укрыл следы войны, и стоит сойти снегу, как сразу откроются и полуразрушенные окопы, и воронки, и ржавые мотки колючей проволоки... Еще мальчишкой я видел такие картины под Ленинградом. Но здесь ничто не напоминало о войне.

— Вон там наша пушка стояла, противотанковая. Один танк метров пятидесяти не дошел до нее, подбили. Так и застрял на дороге. Если бы не пушка эта, нам бы не продержаться...

Детский смех донесся, докатился до нас с речки.

«Мишка, Мишка, поди сюда, что я тебе скажу!» — раздавался звонкий мальчишеский голос.

— Потом пушку снарядом накрыло, весь расчет разом... никто не уцелел...

Овчинников говорил отрывисто, нервное возбуждение владело им.

А я старался представить себе, как рвались здесь снаряды, старался представить и эту одинокую пушку, и дымящийся на дороге танк, и гибель артиллеристов — и не мог. То есть мысленно я все это представлял, видел, но я не чувствовал, как это происходило. Я ожидал от себя чего-то иного, какого-то иного состояния, которое я должен был испытать здесь, на этом поле, и которое так и не приходило ко мне. Душа моя словно замерла, затаилась, ни горя, ни боли не ощущал я, только странная грусть подступала к сердцу при виде застывшей подо льдом речки и ребят, беспечно катающихся на санках,— как будто время бежало вспять и война еще только надвигалась оттуда, из прошлого...

— Пойдемте, я покажу вам, где мы с отцом вашим находились...

Овчинников ступил на снежную целину и пошел, глубоко проваливаясь ботинками в снег. Я не отставал от него. Несколько раз он останавливался, точно прикидывая что-то, точно примеряясь, смотрел на мост, на далекие деревенские избы.

— Летом бы я сразу нашел, а зимой... зимой труднее... зимой я тут первый раз...— бормотал он. Наконец остановился и сказал уверенно: — Здесь.

Так вот что видел мой отец в последний день своей жизни! Вот что открывалось его взгляду. Та же дорога, тот же мост, те же избы были передо мной, но теперь я смотрел на все это словно бы глазами отца. Я стоял на том же месте, что и он, я видел то же самое, что и он. Пусть тогда было лето, а теперь зима, неважно, это не имело значения. Мгновенное ощущение слитности — как будто я был он и он был я — поразило меня.

Овчинников стоял рядом со мной, солнце светило нам в спину, и тени лежали перед нами. Снег на пятачке, вытоптанном нами, осел и слегка подтаял. Овчинников тоже смотрел вперед, на дорогу, упиравшуюся в мост. Что он видел сейчас? Немецкие танки, медленно ползущие вверх от речки? Себя — такого, каким он был тогда, тридцать лет назад?

— Я вам вчера неправду сказал,— не оборачиваясь, вдруг произнес он.

Эти слова прозвучали так неожиданно, что я вздрогнул.

— Что? — спросил я.

— Я вам вчера не все сказал,— повторил Овчинников, по-прежнему не оборачиваясь.— Будто я ранен был и не помнил, как в плен попал. Не так это. То есть ранен-то я был, это точно, и контужен, но

двигаться мог и стрелять мог — одним словом, в сознании находился. И пуля у меня для себя припасена была и граната. Мы с отцом вашим, еще когда записку эту писали, слово друг другу дали, что живыми фашистам не дадимся. Не мыслили мы себе, что в плену можем оказаться. Это потом уже я повидал лагеря, где были тысячи наших пленных, а тогда нам и в голову не приходило такое.

Он повернулся ко мне, и теперь я увидел его лицо. Правый, совсем прикрывшийся глаз придавал ему угрюмое выражение.

— Вот здесь, на этом самом месте, где мы сейчас стоим с вами, мы слово друг другу давали. Отсюда и отец ваш с гранатой пополз навстречу немцам. А я... Страшно мне стало. Как бы вам объяснить получше, чтобы вы поняли?.. Если бы от чужой пули умереть — это одно дело, от пуль я не прятался, а вот самому, своими руками... И знаете, я ведь до самой последней минуты верил, что смогу, сумею. А тут вдруг почувствовал: страшно! Жить хочется! А может быть, и не так все было, это, может быть, мне теперь уже кажется, будто я что-то подумать успел... Тогда мгновения, секунды все решали. Уткнулся я лицом в землю и чувствую: немец меня в спину прикладом ударил. Может, я сознание на минуту потерял, не знаю, а может быть, и нет. Я об этом все время думаю. Столько лет мучаю себя этим.

Овчинников хмуро глянул на меня одним глазом.

— Я столько в плену навидался, столько вытерпел, вынес, столько раз рядом со смертью ходил, что мне не стыдно говорить об этом...

Я слушал его, сбитый с толку, потрясенный, не понимая еще, как мне нужно отнестись к этому неожиданному признанию.

— Я полночи сегодня не спал, — продолжал Овчинников, — все вспоминал и думал: сказать вам или нет про эти мои сомнения. Я, может быть, и сюда вместе с вами поехал, чтобы проверить себя. Если хотите знать, я оттого это все вам теперь рассказываю, чтобы установить для себя, смелый я или нет.

Он замолчал, как будто ожидая, что я отвечу, но тут же вдруг заговорил снова:

— Есть ли моя вина? Или смерти испугался? Так я потом в лагерях фашистских такое вынес, что смерти тяжелее! Я, может, потом еще сто раз пожалеть успел, что пулю эту в себя не выпустил! А вот выжил, и живу, и пользу еще руками этими приношу!..

Внезапно налетел ветер, и белое поле перед нами вдруг словно шевельнулось, тревожно задымилось сухой снежной пылью. Лицо Овчинникова покраснело, глаза слезились. Лицо совсем уже старого человека...

Зачем он рассказал мне все это? Что он хотел теперь услышать от меня? Чего добивался? Я все еще не мог преодолеть растерянности. Когда вчера я ощутил первые сомнения, я и не думал, что так быстро получу ответ на них...

— Что же вы молчите? — сказал Овчинников. — Осуждаете? А вот те, кто тогда остался здесь, осудили бы они меня? А? Как думаете?

Почему он так уверенно говорит от их имени? Или оттого как раз и был так настойчив, так упорно возвращался к одной и той же мысли, что неуверенность терзала его? Что бы он там ни говорил, а, рассказывая сейчас свою историю, исповедуясь передо мной, он как бы сам у себя искал оправдания. Искал и не находил. Мучила его эта заноза. Тайну свою, вину свою со мной разделить хотел. Ощущал ли он теперь облегчение от своего признания? Или уже жалел, что открылся передо мной?

— Что же вы молчите? — повторил он.

— Мне трудно судить, — сказал я.

Мне и жалко было этого человека, и в то же время не мог я заставить себя произнести слова сочувствия.

Я вдруг понял, отчего мне было так тяжело слушать его признание. Все время, пока он говорил, меня не оставляло ощущение, будто он спорит с моим отцом. Я не знаю, хотел ли он этого, но так получалось. Отец уже ничего не мог ответить ему, не мог ни согласиться, ни возразить, и Овчинников ждал, что скажу я.

Этот человек не был ни предателем, ни подлецом. Он просто инстинктивно хотел жить. Разве это не естественно для человека? «...Вот выжил, и живу, и пользу еще руками этими приношу!» Да, так оно и есть, он не врал, не преувеличивал. И дочь у него родилась уже после войны, хорошая дочь, славная — еще одна человеческая жизнь, ее бы не было, умри он тогда здесь, в этих окопах. Вера не знает об этом, да и зачем ей знать?

А мать, его мать? Ее слезы и ее счастье? Как их измерить? А собственная жизнь? Тридцать лет жизни — такое огромное море времени! Брось все это на чашу весов, и такой непомерно легкой вдруг покажется другая чаша — чаша весов моего отца, такой беззащитной в этой своей легкости!.. Что там на ней? Лишний убитый фашист? Вера, что своей смертью ты остановишь врага? Мальчишеское презрение к смерти? А может быть, просто нелепо доискиваться до смысла гибели одного человека — на войне, где погибли миллионы? Он, мой отец, был одним из тех бесчисленных солдат, что умерли, но защитили Родину, разве этого недостаточно?.. Он сам сделал свой выбор, сам отказался от иной судьбы...

И так чисто, так светло, так прямо и честно смотрел теперь мой отец из прошлого, что сердце мое сжималось от любви к нему...

...Черные фигурки ребят по-прежнему весело суетились возле речки. Может быть, и кто-нибудь из тех, кто отыскал гильзу с запиской, был там. И деревня Заречье лежала совсем рядом, на том берегу. Можно было зайти туда, к ребятам, они так и не знают еще, что Овчинников жив. Но сейчас мне не хотелось делать этого. Лучше я приеду сюда когда-нибудь после, один.

Овчинников больше не спрашивал меня ни о чем. Он задумался, ушел в свои мысли, и на минуту мне даже показалось: он забыл, что я стою рядом.

— Ладно, — вдруг сказал он. — Я ведь не для вас все это рассказывал, я им это рассказывал. И давайте теперь помолчим немного.

Он обнажил голову. Ветер шевелил его редкие, седеющие волосы. Я тоже снял шапку. По-прежнему светило солнце, и вокруг было бело и тихо.

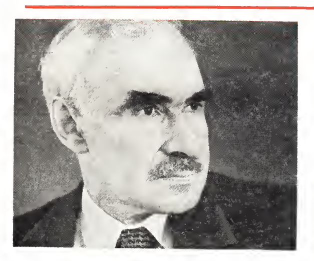
10

Назад мы ехали молча. Овчинников смотрел в окно автобуса, тень замкнутости, нелюдимости снова легла на его лицо.

Автобус уже катил по городским улицам. Сейчас мы выйдем, Овчинников пригласит меня к себе домой, спросит, пойду ли я. Там уже ждут нас. Наверняка и Евдокия Петровна и Вера хлопочут с самого утра. Как это сказал вчера Овчинников: «Маленькое семейное торжество»? День рождения? Или поминки по моему отцу? Или то и другое вместе?

Сейчас он позовет меня.

Что я скажу? Что отвечу?

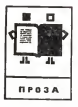


Владимир
ШОРОР

КОНЬКИ-КОНЕЧКИ

РАССКАЗ

Рисунок
О. КОКИНА.



Моя дочь Анюта собирается на каток. В коридоре ждут ее две подружки. Они в капроновых куртках с «молниями», в спортивных брюках, заправленных в сапожки. В руках — сумки с коньками. Закрывается дверь, на лестнице стихают девчоночьи голоса.

В окно мне видно: они все трое вприпрыжку бегут по свежему снегу к автобусной остановке. По дороге они станут обсуждать дела своего шестого «А» класса и вспомнят о тренировке только на стадионе, увидев энергичную женщину, мастера спорта, которая обучает их фигурному катанию.

Анюта вернется под вечер, бросит у порога сумку с коньками и рванется к телевизору смотреть очередную серию фильма «про шпионов». А я возьму из сумки коньки и какую-то минуту, как и много лет назад, буду завороженно смотреть на их зеркально-металлический блеск, зовущий лететь по сизому льду под легкое их позванивание.

Коньки-конечки... Они были первой моей самой сильной мечтой, страстью, любовью, увы, почти недостижимой. Все мое детство прошло с мечтой о коньках. Она возникла в тот самый день, когда я, пятилетний, закутанный в шубу, повязанный шарфом, неповоротливый, прогуливался по нашей тихой, в сугробах, улице. Я даже не гулял, а, как говорила мама, ходил дышать свежим воздухом. Надышавшись, я стоял у деревянных ворот, смотрел на бегущих по накатанной дороге лошаденок, запряженных в сани, слушал буханье колокола Благовещенской церкви и уже хотел идти домой, как вдруг увидел его.

Это было невероятно, уму непостижимо.

Он как будто бежал, но то был совсем не бег. Он сам по себе катился, ехал с огромной скоростью. Под его валенками поблескивали ножи не ножи, а какие-то чудесные штуки, дававшие ему силу и способность катиться самостоятельно. Я был потрясен.

— Да это же коньки,— улыбнулась мама, выслушав мой рассказ,— мальчишка катался на коньках...

— Я тоже хочу коньки! Купи сегодня коньки...

— Ты еще маленький. Подрасти, купим.

Только бы скорей подрасти! Я знаю, надо быть терпеливым. Это мне часто говорит мама. Хорошо, буду терпеливым. Но зато какая наступит жизнь, когда купят коньки! С утра, привязав их к валенкам, я отправлюсь кататься. Я проеду по всем улицам, доеду даже до Ангары. И все будут удивляться: кто это так быстро едет? Как ему удается?

Перед сном я снова говорю маме о мальчишке, промчавшемся мимо нашего дома.

Мама тихо смеется, потом говорит:

— Это не настоящий конькобежец. Хочешь посмотреть настоящих?

— А какие они?

— Завтра пойдем на стадион-каток. Увидишь. А сейчас спи!

На другой день с утра она собирается уходить. Наверное, в шляпную мастерскую. Она, я знаю, делает шляпы в мастерской мадам Покрильдяковой.

— Ты обещала на каток!..

— Сходим, успеем. День большой.

Отец ушел на службу еще раньше, я остаюсь один. Любимое занятие — строить из кубиков дома. Кубиков у меня целый ящик, самые разные. Они оклеены картинками. Там слоны, львы, жирафы. А еще есть с буквами. Из них можно составлять слова. По этим кубикам я научился читать. Но ни складывать слова, ни читать, ни строить не хочется: у меня одно-единственное желание — увидеть хоть издали того самого мальчишку.

Я залезаю на стол, придвинутый к подоконнику, и, прижав лоб к холодному стеклу, смотрю на улицу. Редко-редко пройдет по ней человек. За церковной оградой стынут голые деревья в снегу, деревянные кресты над могилками, два-три мраморных памятника. Скорей бы вернулась мама. А ее все нет и нет. Наконец она приходит. Я кидаюсь к ней.

— Ну, скоро?

— Что скоро?

— На стадион-каток...

— Подожди со своим катком. Сходим после обеда, если будешь хорошо себя вести. Играй в кубики!

Я бы не играл в эти кубики, да ведь не возьмет на каток. Надо хорошо вести себя. Я покорно берусь за кубики. И тут меня осеняет. Сделаю коньки сам. Поиграть. Я составляю несколько кубиков двумя рядами, становлюсь на них и хочу, как тот мальчишка, поехать. Но шлепаюсь на пол.

Из чего бы сделать коньки? Нахожу кусочек палки и сломанную линейку. Привязываю к ботинкам шпагатом. Пробую ехать. Нет, опять не получается. Я, конечно, понимаю, что беру для коньков неподходящий материал. Но мне хочется хотя бы поиграть в коньки, хотя бы так, понарошке, представить себя на коньках. Что бы такое приспособить? Я осматриваю комнату, перехожу в другую и на отцовском столе вижу счеты. Большие конторские счеты. На них отец быстро щелкает костяшками, сидя по вечерам за сверхурочной работой. И мне иногда позволяет «считать». Я беру счеты, усаживаюсь в них, как в санки, и, отталкиваясь ладонями, еду по полу. Не коньки, но все же... Тут входит мама.

— Ах, боже мой, боже мой! Что за ребенок?

Я растерянно молчу.

— Положи счеты на место и не смей трогать.

После обеда я спрашиваю:

— Будем сейчас одеваться?

— Давай скорее!..

Я счастлив и бегу за всеми своими одежками.

Наконец мы выходим. Снег мягкий, белый. Вот бы поваляться! Но мама крепко держит меня за руку, мы чинно идем по деревянному тротуару и выходим на главную улицу. Сколько тут народу! Успевай только смотреть. А по мостовой проносятся извозчики, кричат прохожим: «Па-аберегись!»

Дома здесь не то, что у нас, на Благовещенской, а все до одного каменные, огромные, в три этажа. Внизу большие зеркальные окна, над ними вывески. Я читаю первую: «Колбасная торговля вдовы Копьевой». В окне лежит нежно-желтый поросенок на блюде. Он прикрыл глаза и улыбается во весь рот. Над ним висят гирлянды сосисок, розовый окорок и толстущая колбаса. Я замедляю шаги, чтобы наглядеться на улыбающегося поросенка. Но, спохватившись — не опоздать бы на каток! — тяну маму дальше. А там еще интересней. В «Греческой кондитерской Ламбриониди» выставлены пирожные, кремовые трубочки, огромный торт, а на нем шоколадный медведь. В передних лапах он держит табличку: «Все к вашим услугам!» Значит, к моим услугам. Сразу же мне захотелось пирожных. Но в это время раздался протяжный гудок, будто заиграли на трубе. Я обернулся.

По середине улицы ехал синий фургончик на колесах — первый в нашем городе автобус. Люди останавливались, глядели с удивлением и восторгом. Вот до чего дожили! Управлял автобусом кто-то в кожаном шлеме с очками, в кожаной куртке. Руки в кожаных перчатках, с раструбами, держали рулевое колесо. Он всем улыбался, кивал, наверное, сам радовался, что едет. В окошечке было написано: «От вокзала до базара за 10 копеек всего».

Вот бы прокатиться!

— Неслыханная дороговизна! — сказала мама.— Десять копеек! Да я лучше десяток яиц куплю.

У длинного кирпичного дома, опоясанного вывеской «Центральный рабочий кооператив», мама сказала:

— Сюда надо зайти.

Я хочу скорее попасть на каток, но меня разбирает любопытство: что за кооператив такой? Заходим. Я удивлен. Обыкновенный магазин. У прилавков толчется народ, пахнет сукном, овчинами, краской. И пока мама спрашивает у продавца: «Почем это? А это почем?» — и трогает разные материи, ощупывает их двумя пальцами, я успеваю наглядеться на прибитый к стене плакат. Там нарисован крестьянин с серпом и рабочий с молотом, взявшиеся за руки. Сверху написано: «Да здравствует смычка города и деревни!» А пониже: «Рабочий! Не покупай товары у частника и нэпмана, иди в свой кооператив!» На улице я спрашиваю:

— Почему не купила?

— Не на что покупать, сынок. Денег мало.

Я понимаю, что у нас мало денег. Мой отец служит по конторской части у мясоторговца Курдасова. И этот Курдасов платит отцу, часто говорит мама, сущие гроши.

Мы пересекаем улицу, где стоят лошади, запряженные в сани, а рядом расхаживают извозчики, поджидающие пассажиров, и попадаем в другую часть города. Здесь нет магазинов, меньше прохожих, тише. Вдоль тротуара растут старые, раскидистые тополя, на них много снегу. Внизу поэтому негустой сумрак. Мы выходим на небольшую площадь перед городским театром.

— Какой, интересно, идет спектакль? — сказала мама, подходя к афише.— Луначарский «Бархат и лохмотья». Да-а... Нарком просвещения. Где это слыхано? В прежнее время министры пьес не писали. А теперь — пожалуйста...

— Потому и дороговизна,— сказала какая-то женщина в полушубке и толстом платке.

Мы прошли еще немного, и я услышал какой-то завораживающий звук. То было странное негромкое шуршание, сопровождающееся легким звоном, вернее, звенящими тихими ударами. Тут же я увидел две высокие дощатые башни с флагами и деревянные решетчатые ворота между ними...

— Ну вот,— сказала мама,— смотри!

Я рванулся к деревянной решетке, прижался к ней лицом, вцепился в нее руками и замер. По ледяному полю, прямо на меня мчались настоящие конькобежцы. Почти у самых ворот лихо поворачивали и уносились куда-то вдаль.

Сначала я видел только лавину мелькающих, кружащихся, радостных людей. Потом стал различать детали. Конькобежцев было много, они были разными. Взявшись за руки, неторопливо и старательно проехали две девочки в плиссированных широких юбках и красных кофтах. Куда быстрее промелькнул высокий, кудрявый мальчик, заложивший руки за спину. Шарф его флагом развевался по ветру. Во весь дух, догоняя друг друга и увертываясь, пролетели трое мальчишек в распахнутых куртках. Эх, счастливые!.. Плавно и стремительно, наклонясь вперед, будто плыли по воздуху, промелькнули двое в черных свитерах. Коньки у них длинные и тонкие, как ножи в колбасной вдовы Копьевой. Старик с белой бородой, в золотых очках, похожий на доктора, проехал не очень быстро, засунув руки в карманы пальто. В кресле, поставленном на полозья, провезли

девушку в шляпе и с муфтой. Вот, глупая! Сама на коньках, а еще и везут!.. А на середнне круга творилось уж совсем невероятное. Некто в шапочке с помпоном н в широких, будто надутых штанах то ехал спиной вперед, то внезапно подпрыгивал и, повернувшнсь в воздухе, скользил на одной ноге, то, разогнавшись, останавливался и вертелся юлой, то опять катился назад, ласточкой раскннув рукн.

Сколько я стоял там? Должно быть, долго, потому что стал мерзнуть.

— Ну, достаточно,— решительно пронзнесла мама.— Всему надо знать меру.

На обратном путн я не обращаю внимання нн на шоколадные пирожные в кондитерской Ламбрионидн, ни на поросенка в магазине вдовы Копьевой. Перед моими глазами несутся конькобежцы.

Да, я заболел коньками. Я не мог ни думать, нн говорить ни о чем, кроме коньков. Но ни мама, ни отец на зту «болезнь» внимания не обращалн. Когда я просил конькн, отмахивались:

— Подрастн, подрастн немножко. Тогда купнм.

А я, не зная, как воплотнть в жнзнь свою мечту, запоем стал рисовать. Я рнсовал н прежде — дома, извозчнков с седоками, церквн, гуляние на главной улнце — улице имени Карла Маркса. И еще — гражданскую войну: красных в буденовках и белых в зполетах, на лошадях, с пикамн — все, что раза два видел в кинотеатре «Красный Байкал». Теперь зто забылось. С несокрушимым постоянством рисовал я одну н ту же картину. Она называлась «Стадион-каток» н выгодно отличалась от предыдущего творчества. Все, так поразившее меня на стадноне, я старательно наноснл на бумагу. Там был и мальчишка в распахнутой куртке, и старик с бородой, в золотых очках, н девнца, восседающая в кресле на длннных полозьях.

— Это же умопомрачительно, что он нарисовал! — говорила мама.— Пусть рисует. Пусть. Он будет у нас художником.

Но я не хотел быть художником. Я хотел быть конькобежцем. Коньки же не смоглн мне купить ни в ту, ни в следующую зиму, ни тем более в третью, когда мне шел уже восьмой год. С осенн я должен был пойтн в школу. Но в год, предшествующий зтому событню, я заметил, что отец стал меньше со мной разговаривать, чаще молчал, задумчиво ходил из угла в угол и негромко спрашивал сам себя:

— Что делать, что делать? Как теперь жить?

Однажды он вернулся не к вечеру, как обычно, а днем, когда я рисовал очередные конькобежные состязання, и глухо сказал маме:

— Курдасов закрыл дело. Я — безработный.

Мама долго молчала, потом ответила:

— Плевать на него, на Курдасова. Подлый он зксплуататор. Ты главное не расстраивайся. Как-нибудь проживем.

— На биржу труда становиться надо. А там таких, как я, пруд пруди.

Я не понимал, что все зто значит, но чувствовал: на нас навалилась какая-то беда. Позтому сидел тихо, не шевелясь. Отец по привычке бросил мне на стол городскую газету «Власть труда».

— Читай, товарищ.

Газету читать я не любил. Отпугнвали мелкне буквы, нагоняли скуку непонятные слова. Интересовало меня только спасение итальянских полярников ледоколом «Красин». Да еще с удовольствием читал я объявления и смотрел карнкатуры. На английских буржуев, на белогвардейцев. В поисках карикатур развернул газету. Нашел, насмотрелся, как толстопузый буржуй в цилиндре, с сигарой, грозит пистолетом рабочему со знаменем. Перевернул страницу и хотел прочитать, что идет в кинотеатре «Красный Байкал», но сверху увидел объявление, от которого у меня захватнло дух.

Там было написано: «Бегайте на коньках н катайтесь на лыжах! Все для спорта, для подвижных игр на воздухе н в помещении. Торговая фирма Арцынович и Ландориков предлагает коньки всех систем, различные лыжи, санки, рукавицы для бокса, гантели, мячи для футбола н лаун-тенниса... Предоставляется кредит».

— Папа,— спросил я,— что такое кредит?

— Кредит? — переспросил он.— Продажа товара в долг. Допустим, у тебя нет денег, а надо купить определенную вещь. Ты приобретаешь в кредит, без денег. А потом зтот кредит погашаешь.

— Как это погашаешь?

— Вносишь деньги, когда они появятся.

Так это же как раз то, что мне надо! Газету я предусмотрительно спрятал в ящик с кубиками.

С утра, когда отец ушел на биржу труда, а мама в шляпную мастерскую, я перечитал объявление и адрес магазина. Не так далеко. Никто и не узнает, если сходить. Эта мысль сначала меня испугала: одному, без спроса, и не гулять во дворе, а — шутка сказать! — ходить по городу, по магазинам!! Но мне просто невозможно в эту зиму остаться без коньков. И я понял: надо действовать.

Я взял все свои деньги — серебряный гривенник, подарок отца. Я знал — гривенника не хватит даже на ключ для коньков. Но есть же спасительный кредит! Печатными буквами я написал на листе из конторской книги: «Ушел дышать свежим воздухом». Подумал и добавил: «На улицу».

Не замеченный соседями, я вышел из парадной двери и зашагал к улице Карла Маркса. Затем свернул на улицу Урицкого, прошел мимо книжного магазина, мимо парикмахерской Маргулиса и остановился внезапно. Здесь!.. Вот они, коньки!

Я навалился на дверь и вошел. Большой магазин был совершенно пуст. Только за прилавком, удивленно разглядывая меня, стояли двое. Я сразу понял: они. Высокий, длинноносый — тот Арцынович. А круглый, румяный, веселый, конечно, Ландориков. Я крепче сжал в кармане свой гривенник, остановившись в растерянности.

— Пожалуйте, молодой человек! Проходите в торговый зал, молодой человек! — приветливо сказал Ландориков.

— Займись покупателем, Иннокентий.— Арцынович улыбнулся и вышел в узенькую дверь.

— Что для вас? — спросил Ландориков.

— Коньки...— вымолвил я.

— Прекрасно, молодой человек. Какой системы прикажете вам коньки?

— Снегурки,— пролепетал я.

— Сию минуту, молодой человек.— Он скрылся под прилавком и вынырнул с чем-то в папиросной тонкой, промасленной бумаге.— Вот. На вашу ножку Примеряйте.

Впервые, с восторгом, с недоверием, держал я в руках новенькие, будто для меня сделанные коньки. Они холодили ладонь, на их зеркальной поверхности отражалось мое удивленно-вытянутое лицо.

— Что, не нравятся? — встревожился Ландориков.

— Н-нет... Хорошие... Блистательные,— сказал я, хотя следовало сказать «блестящие», потому что блестят.

Я снял галоши, сел, приставил конек к ботинку. И откуда он узнал, что эти коньки мне по ноге?

— Вот, пожалуйста, ключик. Держите ключик.

Я вставил в отверстие ключа винт, покрутил. Скобки с боков передней площадки мягко поползли в стороны. Я повернул ключ сильнее, и скобки плотно охватили рант, прижались к ботинку. Мешали теперь только стальные шишечки на задней площадке. Они упирались в каблук. Ландориков следил за моими действиями, готовый ринуться на помощь.

— Пожалуйста, молодой человек, держите пластинки. Врежете в каблучок и катайтесь на доброе здоровьичко.

Я взял пластинки с отверстиями для шишечек и четырьмя дырками по углам под шурупы.

— А вот вам шурупчики. А вот ремешки. Полный комплект, молодой человек. Привернете пластинки, подтянете ремешками — и хоть на Северный полюс, спасать Умберто Нобиле на ледоколе «Красин».

Я держал конек приставленным к правому ботинку и не хотел отдавать Ландорикову. Потея в своей бекеше, пыхтя, стал примерять левый.

— А вообще-то, молодой человек,— сказал убежденно Ландориков,— «снегурки» покупать не советую. Канитель с пластинками. Ключ потеряете. И на ноге сидят непрочно. Приобретите лучше «нурмис». Подороже, зато современная вещь.

И он положил передо мной кожаные ботинки с привинченными лезвиями. Ах, что это были за коньки! Я даже не посмел притронуться к похожим на маленькие ледоколы носам, а лишь ласкал их глазами.

Ландориков между тем входил в азарт.

— А не угодно ли вам взглянуть на систему «джексон»?

Мигом он вскочил на лестницу, с верхней полки достал картонную коробку. И я уже во все глаза любовался «джексоном», коньками удивительно тонкими, похожими на «снегурки», но куда красивее, как и «нурмис», привинченными к ботинкам.

— Это превосходит «нурмис» в том смысле,— объяснил Ландориков,— если вы, молодой человек, пожелаете выписывать на льду фигуры: «тройку», «восьмерку» или вертеться юлой.

— Вертеться юлой,— самозабвенно и, пожалуй, про себя произнес я, вспомнив поход на каток с мамой и того, в шапочке с помпоном, штанах пузырями. Конечно, я хочу вертеться юлой, как вертелся он, хочу выписывать эти загадочные фигуры.

Но неутомимый Ландориков завлекал меня все дальше, как завлекают в дремучий лес колдуны. Он работал вдохновенно, артистически. Он показывал, что называется, товар лицом. Едва заметная улыбка не покидала его губ, потому что работа доставляла ему радость. Тогда я, конечно, не мог понять этого, как не понимал, зачем он так рассыпается передо мной, за кого меня принимает. И только много лет спустя, вспомнив этот день, я понял, что Ландориков, блестящий мастер своего дела, томился без работы и рад был показать мастерство хотя бы мне, а может быть, забавлялся сам перед собой.

— А не желаете ли вы, молодой человек, играть в ледяной футбол?

Я никогда не слыхивал о такой игре и уставился на него во все глаза.

— Ледяной футбол, иначе хоккэй, прекрасная, мужественная игра. Развивает силу, ловкость, глазомер, смелость.

Всю жизнь я мечтал развить в себе такие драгоценные качества. Именно это мне и надо.

— В таком случае следует приобретать систему «гагинские». Вот, пожалуйста. И как удачно вы зашли: осталось всего две пары вашего размера.

Рядом с «джексоном» на прилавок он положил коньки с широкими площадками, с дутым, трубкой, корпусом, в который были впаяны тонкие ножи.

— Но коньки, молодой человек, прежде всего — скорость, резвость. Лучшие конькобежцы не уступают в скорости даже поезду. Даже автомобилю. Хотите бегать быстрее всех?

В моем благодарном, доверчивом взгляде он прочитал неукротимое желание бегать быстрее всех.

— В таком случае вам надо приобрести коньки системы «норвежские». Жаль, фабрики не выпускают вашего размера. Но есть, на ваше счастье, единственная пара. Один буржуй заказывал сыну. В Москве изготовили. По особому чертежу. А буржуй тем временем вылетел в трубу. И остался невыкупленный заказ, на ваше счастье. Такой пары, поверьте, ни у кого в городе нет. Да что в городе? Во всей Сибири не найдете!..

Длинные, изящные, с тончайшими ножами, не просто впаянными в дутые трубки, но еще и прошитые головками крошечных заклепок, эти коньки обещали стремительный полет по льду.

Вошел Арцынович, и Ландориков сразу как-то погас, устало спросил:

— Ну-с, что же мы купим? Прикажете завернуть «норвежки», молодой человек? Или «нурмис»?

— Заверните «норвежки»,— сказал я.— Только в кредит. У меня пока гривенник. Вот...

Ландориков растерянно поглядел на протянутую монетку, а его компаньон Арцынович захохотал.

— Эх, молодой человек! — вздохнув, сказал Ландориков.— Кто бы мне предоставил кредит? Вы не знаете? Ступайте тогда с богом...

И я поплелся домой. В витрине колбасного магазина вдовы Копьевой не было ни поросенка, ни окорока, ни колбас. Рабочие на веревках спускали со стены железную вывеску. Никаких сластей не оказалось и в кондитерской Ламбриониди.

Примерно через неделю мы с отцом шли по улице Урицкого. Вот-вот поравняемся с магазином Арцыновича и Ландорикова. Сейчас, сейчас я увижу коньки всех систем. Но железными ставнями с висячими замками были закрыты магазинные окна. А на дверях, тоже закрытых, висела табличка: «Фирма ликвидирована. Претензии не принимаются». У меня к фирме претензий не было. Только коньки в нашем городе теперь нигде не продавались, кроме как на толкучем рынке. И в тот год и в последующие я тоже остался без коньков.

Отец мой тогда долго болел, а я с утра уходил в длинную очередь за хлебом и возвращался с буханкой — на всю семью по карточкам,— когда время было идти в школу. А по вечерам выключалось электричество, город был темным, последние уроки в школе шли при коптилках, которые стояли на партах. До коньков ли тут? И все же иногда я приходил к стадиону, денег у меня, конечно, не было, перелезал в самом дальнем месте через забор и смотрел на ребят, носящихся по льду.

Коньки с ботинками я получил не скоро, уже в седьмом классе. К тому времени исчезли хлебные очереди, новые турбины заработали на городской электростанции, а в доме, где когда-то был магазин Арцыновича и Ландорикова, открылся спортивный магазин общества «Динамо».

— Да, наступило другое время,— удовлетворенно говорил мой отец, работавший теперь в плановом отделе механического завода.

На месте сломанной Благовещенской церкви устроили еще один каток, меня приняли в общество «Юный динамовец» и стали учить игре в хоккей с мячом. О хоккее с шайбой мы тогда еще не слыхивали.

А года через три, уже студентом, я играл за первую сборную своего института. Наша команда неплохо выступала на первенстве вузов. Может быть, я и доигрался бы до мастера спорта. Во всяком случае, замыслы такие вынашивал. Но тут опять наступило другое время. И моей командой стал огневой минометный взвод. Время это было трудным и долгим. Обычный год для тех, кто был на войне, стали считать за три.

Когда я вернулся с войны, то в первый же день, еще в погонах и ушанке со звездочкой, пошел на каток, хотя очень болела нога, простреленная на Хингане японским снайпером. Теперь у меня были деньги, много денег — четыре месячных оклада. За каждый год войны выдавали при демобилизации месячный оклад — я прослужил все четыре года. И я, пожалуй, впервые в жизни хотел купить билет на каток. Но меня впустили без всякого билета.

— Пожалуйте, молодой человек! — услышал я голос контролера.— Проходите, молодой человек, защитнику Родины почет и уважение!..

Чем-то давно забытым и все же знакомым повеяло от этого голоса, точнее, от интонации. Я вгляделся и узнал Ландорикова. Он постарел, лицо было в морщинах, но от всей фигуры исходили прежняя обходительность и стремление угодить человеку.

Увидев, что я без коньков, он сразу передал кому-то свой пост и повел меня в помещение под трибунами, где лежали на стеллажах коньки всех систем — для проката. Ландориков, как узнал я потом, не только стоял на контроле, ремонтировал и точил коньки, но был мастером по заливке льда, следил за порядком на ледяном поле и мог дать любой совет, касающийся конькобежного спорта.

Я получил от него, как он сказал, «самолучшую пару». И пошел на лед, прижимая коньки к видавшей виды шинели, не сказав Ландорикову, что нога плохо срослась и я не могу кататься.

Я стоял с коньками в руках, обдуваемый ветром, и все не мог наглядеться на синеватый лед, надышаться морозным воздухом, наслушаться звона коньков.

И теперь я подолгу смотрю, как моя дочь Анюта собирается на занятия фигуристов, как она со своими подружками бежит к автобусной остановке, спеша на каток. И я наивно еще надеюсь: она станет мастером спорта, чемпионом, рекордсменом и сумеет сделать все, что не удалось мне.

Лев Озеров

СТИХИ

Зловещий блеск перед грозою.
Свирепый свет и полумгла.
Как будто снова к мезозою
История прийти смогла.

За эти несколько мгновений,
Когда земля рванулась вспять,
Скатились ядра со ступеней
Небесных и — пошло хлестать.

Хлестать налево и направо,
И здесь вблизи и там вдали —
Взахлеб, язвительно, лукаво.
Но что ж осталось от земли!

Земля осталась молодая,
Не помнящая о былом.
Она вставала, обладая,
Как яблоком, грядущим днем.

Жимолость, жимолость,
Под дождями вымылась,
Под лучами выросла.
Жизнь чудесней вымысла,
Вымысла и домысла.
Солнце сверху донизу
Землю греет грешную,
Гонит тьму кромешную,
Чтоб живое ожило
В свете дня погожего,
Чтобы эта жимолость
Вешним ливнем вымылась.

✪

Сакля — ласточкино гнездо
Под карнизом ли, под звездой,
На скале, поближе к лесам,
Сакля лепится к небесам.

Словно сакля, на крутизне
Я живу и — это по мне.
В пропасть не упаду ни за что.
Сердце — ласточкино гнездо.

✪

Рядом здесь, недалече
Море болгарской речи,
Гудящее испокон,
Взрывающееся глаголом,
В беге своем веселом
Раздвигающее небосклон.
Речи болгарской море,
Блистающее на просторе,
Открытое до глубины,
Где звуки все громогласно
Звучат сурово и ясно
Музыкой древней страны.

✪

Снежинок смятенная стая
Вздымается из-под копыт.
И Шуберт в очках засыпает,
И рот его полуоткрыт.

Какие нездешние звуки
Он слышит, дремотой объят,
И тянутся сонные руки
К роялю, и пальцы дрожат.

Проснется и сядет за ноты:
Крючок, закорючка, кружок.
И песню подхватит с полета
Рассвета пастуший рожок.

✪

Говорят, что акварели безнадежно устарели.
К черту этих пустомель! — Обожаю акварель.

Эту легкость и прозрачность с малолетства я ценю,
Умную неоднозначность, равную живому дню,

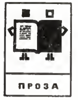
Дню, который вместе с нами дышит, движется,
плывет.
Акварель омыта снами, горным воздухом высот.

Моря тусклое свеченье, день, катящийся во тьму.
Легкое прикосновенье кисти к сердцу моему.

Вижу нити дождевые, слышу флейту и свирель.
Я не знаю, как другие,— обожаю акварель.

✪

Нет ничего прочней, чем песня позабытая.
Что знаю я о ней!.. Далекая, сокрытая,
На донышке души она порою вскинется.
Попробуй запиши! Ага! Была гостиница,
И ночь, и тишина, и кто-то в этом городе
Пел песню дотемна, веселую до горечи.
В той песне жизнь была, и эта песнь уверенно
В мое окно плыла и мне была доверена.
Случайность! Тем верней, запомнилась —
открытая.
Нет ничего прочней, чем песня позабытая.



Василий
КОНДРАШОВ

РЫЖИЙ — НЕ РЫЖИЙ...

ПОВЕСТЬ

Глава 5

Проспал Петька до десяти часов. Мать и отец давно уже были на работе, а его, как обычно, никто не разбудил. Какие дела по дому, мать поручала с вечера, а вчера она ничего ему не сказала, расстроилась, что хмельным пришел... И отцу ничего не сказала. И снова Петька сквозь сон слышал, как плакала мать.

Петька рывком сбросил одеяло к ногам и босой, в одних трусах побежал на кухню. Сделал там несколько боксерских движений, умылся и стал одеваться, неохотно вспоминая прошлый день. О стычке у Сергея он нисколько не жалел; пусть «кредитор» не задирается, а то слишком силен, когда не один, а на улице — так сразу драпанул, духу не хватило. Плохо, в самолет не поверили. А он надеялся...

Доедая щи, Петька смотрел через запотевшее окно во двор. На улице разгулялась настоящая зима: шел мелкий, густой снег и ветер, наверно, всю ночь гонял по крышам сараев белые струйки из снежных крупинок. Петька видел из окна, как они падали вниз и замирали на земле, укладываясь в острогорбые сугробы; поежился — опять зима, холод и морозы надоели, да и вообще, говорят, все начинается с весны. Правда, в своей жизни он никаких перемен не ожидал не только весной, но и летом, если не считать намеков отца, что пора бы кончать с волынкой и подумать о работе. Отцу, как видно, было не важно, кем он будет работать: точить детали или подметать стружку. На завод — и все! Это ему все равно! Вообще-то при случае стоит поинтересоваться, как там, на заводе.

Петька с сожалением вспомнил, что вчера не поехал на хоккей, и дал себе слово не пропустить сегодняшний повторный матч. Как всегда, на встречи с классными командами очень трудно достать билет, но Петька на этот счет не беспокоился: не достанет билет — пройдет бесплатно. Еще не было случая, чтобы он не попал на матч. И все же Петька решил сразу же после завтрака поехать в город, зайти в «Эфир»,— может, завезли проволочные сопротивления, потом побегать по радиомастерским — говорят, там у них при желании любой деталью можно разжиться, по блату, конечно. Одно плохо: хоть деньги есть — отец не скупится на детали,— а блата нет. Обидно: из-за такой мелочи, как проволочное сопротивление, Петька не может доделать генератор инфракрасного излучения и испытать его. Кто знает, не ошибся ли где в схеме, справился ли с компоновкой деталей. Ну ничего, транзисторные приемники делал — и с генератором сладит, вот только достанет проволочные сопротивления.

Рисунки
В. СМИРНИЦКОГО

Окончание. Начало см. в № 1 за 1976 год.

Петька вышел на улицу, нерешительно потоптался на крылечке, привыкая к холоду и размышляя, идти ли ему или подождать до обеда, когда потеплеет, потом спрыгнул со ступеней и направился на окраину поселка. Там начиналась основная дорога в город, и легче поймать попутную машину. В крайнем случае и рейсовый автобус не пройдет мимо: на нем работает знакомый шофер и он всегда подбросит Петьку.

Как-то непривычно было видеть в последние дни замусоренные весенние улицы. И откуда только набирается за зиму! А сейчас перед Петькиными глазами его родная улица тянулась белая, присыпанная снегом, и ему хотелось идти и идти по ней, ни о чем не думая и не замечая прохожих.

— Петька, задавлю!

— А ты тормози.— Оглянувшись, Петька увидел позади себя груженный лесом ЗИЛ с прицепом.— Человек идет! — Он не узнал соседа, который на днях пересел на тяжелый грузовик и был так рад, что останавливал каждого знакомого.

— Ты чего? Не узнал? — сосед был явно доволен удивлением Петьки. Он высунулся в окно и пригласил прокатиться с ним.

— Дядь Коль, это в вашем автохозяйстве прошлой осенью в пруду «Беларусь» утопили?

— Было дело,— усмехнулся водитель.

— Ну и как? В пруду он еще?

— Что ты! Той же неделей вытащили. Директор такой разгоняй устроил — куда там! Оно и правильно. Техники у нас хотя и много, а все не хватает.

Петька ликовал, услышав ответ водителя. Пусть кто попробует теперь сказать ему, что в пруду не самолет, а трактор!

— Новый! — похвалил Петька автомобиль, оглядев сиденье, потолок и приборную доску.

— Мне старый не дадут. Ты знаешь, сколько я на своем «газоне» накрутил? Четыреста тысяч! Если в арифметику удариться, то выходит — десять раз на колесах в кругосветное путешествие отправлялся, с возвратом и без единой аварии.

— И не надоело?

— Чего?..

— Кругосветные не надоели? Они же у тебя все от поселка до города и обратно, ну, в район куда-нибудь, если повезет.

— Ты во-от о чем,— с еле заметной обидой ответил шофер.— После таких слов и катать тебя не хочется.

— Мне не кататься. Мне в город.

— Мне тоже. На мебельную фабрику... Знать, ничего ты, Петька, не смыслишь в нашей работе.— Шофер порылся в кармане, достал спички и, не останавливая машину, закурил.

Он уже не смотрел на Петьку, и взгляд его плыл где-то поверх дороги, над двумя глянцево отшлифованными следами от колес.

Вылез Петька около кинотеатра «Центральный», от него до фирменного магазина «Эфир» всего два квартала. Это был его любимый магазин в городе, и не зайти туда он просто не мог. Петька до мелочей изучил содержимое витрин и чуть ли не с первого взгляда определял, что появилось на них нового. На этот раз Петька в магазине долго не задержался, надо же было подумать о билете в Ледовый дворец, достать его днем, чтобы вечером не толкаться в очереди.

Трамваем он проехал несколько остановок и вышел прямо против Ледового дворца. У кассы стояло всего несколько человек, так как был рабочий день, и Петька без лишних хлопот взял билет, с огорчением подумав, что до начала матча уйма времени: весь город можно обойти вдоль и поперек и еще в кино сходить. Но ни то и ни другое Петьку не интересовало, а пока он размышлял, куда податься, начали замерзать ноги. Он стал приплясывать на месте, но это мало согревало, к тому же очень уж неприглядно выглядело со стороны. Что он, девчонка?

Петька решил пройтись по улице, на которой стоял Ледовый дворец. Эта мысль в Петьке особого энтузиазма не вызывала, но, понимая, что он далеко не снежная баба и простоять на холоде или болтаться возле дворца долго не сможет, он медленно пошел по скользкому асфальту, разглядывая себя в огромных витринных стеклах магазинов. Парень как парень, не хуже других, только согнулся вопросительным знаком, так и за горбуна примут. Это все от холода.

Петька не понимал, почему он в сильные морозы меньше мерзнет, а вот в такой десятиградусный готов в подъезд любого дома нырнуть или даже в хлебном магазине потолкаться.

Несколько минут Петька шел вдоль забора, покрашенного в салатный цвет. Забор был такой надоедливо длинный, что Петька решил уже перейти на другую сторону улицы, но, взглянув на плотный поток машин, раздумал: какой смысл переходить — там асфальт и здесь асфальт. А забор когда-никогда кончится. В жизни кончаются не только заборы. Как его встреча, например, на квартире Можарука с поселковыми ребятами. Жаль... А вообще не стоило никому рассказывать про историю с прудом. В школах без него достаточно следопытов, только им — он-то знает! — чтоб следы подальше шли, на запад или на север, куда угодно. Какие могут быть «следы» в их поселке! Тут и людей-то героических нет! Ха! А дед Авдей им не герой, дед Авдей никогда не был молодым! Ну, ничего! Лишь бы не подкачала дедова память. Петька еще найдет способ добраться до самолета. А того «кредитора» он с головы до ног пивом обольет, чтоб стихи на ум не шли...

Забор повернул под прямым углом вправо, и Петька увидел метрах в пятидесяти большое здание с длинными полукруглыми ступенями на входе и декоративными колоннами, будто наполовину влитыми в стены. Подумал — театр или музей какой, но узнал от прохожего — фабрика-кухня! По словам прохожего, там и столовая, и кафе, библиотека и кинотеатр. Придумают же такой бутерброд с книжкой!

А что если зайти просто из любопытства и посмотреть, что там внутри фабрики. Заодно не помешает и пообедать.

На нижнем этаже фабрики-кухни той парадности, которая так бросалась в глаза с улицы, Петька не заметил. Он разделся в гардеробе, поискал глазами дверь с вывеской «Столовая» и, не найдя таковой, направился, как большинство людей, на второй этаж. Здесь он вошел в просторный зал с круглыми, под мрамор колоннами, какие обычно встречаются в солидных дворцах культуры. Для полной схожести в этом зале не хватало только эстрадного оркестра и дружинников. Прямо против входа в зал, заставленный несколькими рядами столов с синим пластмассовым верхом, к дальней стене прижался буфет со стеклянными конусами на прилавке и витринами на правой и левой стороне.

Петька встал в очередь, где выдавались обеды. Чтобы больше сегодня не задумываться о еде, он решил поплотнее поесть. На сытый желудок и хоккей веселее смотреть. Пристроился в затылок высокому парню и с некоторой неприязнью оглядел его с головы до ног. Петька не любил высоких; может,

потому, что сам был среднего роста; и еще эти высокие, как ему казалось, были схожи с растениями, у которых было много питания, но не хватало солнца: верх зеленый, а ствол и корни жидкие.

Парень о чем-то вполголоса переговаривался со своим товарищем. Вначале Петька не прислушивался к разговору, своих мыслей хоть отбавляй, но потом, уловив несколько слов: «Канифоль на спирте... пробило конденсатор... непонятный фон»,— заинтересовался разговором. Это уже было знакомо и представлялось любопытным. Парни, пожалуй, каким-то образом связаны с радиотехникой. При случае Петька не упускал возможности познакомиться с радиолюбителями. Но сейчас он не торопился начинать разговор: куда они от него уйдут... Пока что не дальше стола. До кассы Петька не слышал больше ни слова. Парни оказались не такими разговорчивыми, как хотелось бы ему. И лица хмурые, будто желудком страдают и боятся переесть. Лишь у кассы один из них бросил коротко: «Я заплачу». Но Петька не из тех, кто останавливается на полпути. Да в конце концов не так уж и важно: познакомится он с ними или нет. Похоже, они из начинающих. У этих, кроме старых ламп, ничем не разживешься. А что если присесть за соседний с ними столик?

Посасывая куриную косточку из супа, Петька прислушался.

— Уйду я с завода. Честное слово, уйду.

— А дальше что?

— На другой устроюсь.

— Думаешь, есть места, где брачок проходит? Сомневаюсь.

— Мест таких нет, я и без тебя знаю! Зато и мастеров таких нет. Смешно ведь! Один проводок не к той клемме припаял, и он мне целую лекцию. Да еще заработком пригрозил...

«Так тебе и надо,— мысленно обругал Петька молодого рабочего.— Проводок не к той клемме... А что по тому проводку пойдет — не важно, значит. Силе-е-ен!»

Оба парня поднялись и направились к выходу. Петька, не успев доесть второе, компот все же оставлять не захотел и до последнего стола сопровождал парней со стаканом в руке, пока не остались на дне одни выпаренные яблоки. Петьке интересно было узнать, где работают эти двое, а спросить их не рискнул.

Он заторопился к гардеробу, стараясь не выпустить из поля зрения парней, и как же он удивился, когда те пошли на выход раздетыми. Пришлось торопить гардеробщицу, ссылаться на то, что опаздывает на автобус, и врать еще что-то, лишь бы та побыстрей подала пальто. Одеваясь на бегу, Петька выскочил из фабрики-кухни и едва успел высмотреть среди прохожих тех двоих, когда они скрылись в дверях приземистого одноэтажного здания, к которому примыкал забор. Петька устремился за ними, но перед входом остановился, заметив через дверной проем, как две женщины в синих шинелях и с пистолетами на боку вглядывались в пропуска проходивших мимо людей. По-видимому, он попал к проходной какого-то завода и как раз в обеденный перерыв. Уходить Петька не торопился, любопытно было посмотреть, что за люди работают на заводе.

Совсем молоденькие девчонки в накинутых на плечи пальто смело проходили через вертушку, на ходу показывая охране пропуска. Мелькали ребята примерно Петькиного возраста, были и пожилые, но те вовсе не интересовали Петьку с их премудростями и нравоучениями.

— Эй, паря! — остановил Петька невзрачного парнишку и на всякий случай придержал за рукав.— Как можно на завод сообразить?

— Зайди в отдел кадров и соображай. Понравишься — выпишут пропуск и с провожатым сходишь в цех.

— А где он у вас... отдел этот?

— Да вон же. Перед охраной вправо коридор, там все написано.

— Молодец! Все знаешь,— с чуть заметной насмешкой похвалил Петька, еше раз оглядывая неказистую фигуру паренька. Берут же таких! Дунь — и с ног слетит.

В отделе кадров завода Петьку встретил сухонький, усталый человек в сером костюме. Он мельком посмотрел на Петьку и, продолжая что-то писать, спросил:

— На работу?

— Да.

— Сколько лет?

— Шестнадцать.

— Не много, не много,— наконец-то поднял глаза начальник отдела кадров.— А как же школа?

— Да так,— неопределенно ответил Петька.— Не будет, значит, школы...

— А ты слышал про закон о всеобщем среднем образовании? Или он тебя не касается?

После этого вопроса Петька сбросил с себя напускную скромность и, как бывалый слушатель всяких нравоучений, презрительно выпятил губу и скривил рот в усмешке. Он будто бы всем своим видом хотел показать, как неприятен ему дальнейший разговор и лучше его кончать сразу, чем тянуть до всяких там «ученье — свет».

— Мы этого не проходили.

В кабинет вошел молодой, крутоплечий мужчина в синем халате и в таком же берете. Лицо суровое, бровастое, на лбу три продольные морщинки, и прямой с горбинкой нос будто свернут у переносицы.

— Взгляни-ка, старший мастер, на этого гуся,— указал начальник отдела кадров на Петьку.— Как я понял, школу бросил, болтается где-то. Теперь, видишь ли, работать захотел. Возьмешь к себе на участок? — и скептически посмотрел на Петьку. Кому, мол, нужен такой рабочий, обуза одна, и специалист из неуча вряд ли получится.

— Мне нужны люди. За этим и пришел.

— Знаю — нужны, и буду направлять. Кстати, дам тебе несколько выпускников из профтехучилища. Неплохие ребята, судя по характеристикам.

Петька рывком открыл дверь и вышел в узенький коридор. «Хмырь! Мешком пришибленный!» — мысленно ругался Петька, вспоминая начальника отдела кадров.

Вдоль теперь уже знакомого заводского забора Петька направился к Ледовому дворцу. Около часа назад он не задумывался, что́ там, за забором, но сейчас знал точно — завод, и, когда на его пути повстречались ворота, не колеблясь перешел на другую сторону улицы и оттуда стал наблюдать. Не прошло и пяти минут, как ворота открылись и с территории завода выехала машина, груженная несколькими ящиками, сбитыми из неотесанных сосновых досок. Ворота за машиной закрылись автоматически. Между створками на несколько секунд показалась женщина в такой же синей шинели, как у тех, в проходной, и тоже с пистолетом на поясе. У Петьки мелькнула мысль: а что если перемахнуть через забор и удрать от этой неповоротливой тети! Пусть стреляет! Там людей, наверно, много, стрелять не очень-то удобно, в другого угодить можно. Нет, через забор не пойдет. Поднимет вооруженная тетя панику, и его тут же поймают да еще в заведение для несовершеннолетних упрячут. А за что? Он не воровать на завод, а посмотреть, как там работают и вообще что собой представляет этот завод.

Не упря-а-чут!

Мигая подфарниками, на улице притормозила пустая бортовая машина, повернула направо и подъехала к воротам, остановилась и засигналила. За открывшимися воротами Петька снова увидел теперь уже знакомую вахтершу, она что-то сказала шоферу, тот согласно кивнул и поехал на территорию завода по асфальтовой дороге, по обеим сторонам которой виднелись низкие и длинные кирпичные строения с огромными окнами. Подумав, Петька перешел к заводскому забору и встал поближе к воротам, наблюдая за проходившими по улице машинами: грузовые, легковые, автобусы, не снижая скорости, неслись все мимо и мимо. У Петьки иссякало терпение, а нужная машина так и не появлялась. К ногам подползал ломотный холод, Петька стал притоптывать, постукивать каблуком о каблук, а потом начал гонять по тротуару плоский кусок льда, налетая на прохожих. Кое-кто из них оценивал Петькино занятие неодобрительным взглядом, а некоторые и вовсе обещали «съездить по уху».

Петька немного разогрелся, посмотрел на часы и в этот момент услышал сигнал у ворот. Шофер отбивал такую морзянку на клаксоне, что казалось, подавал сигнал бедствия. Петька рывком метнулся к машине, мягко перевалился через задний борт и лег на грязные доски кузова, чувствуя, как суматошно молотит сердце.

Шофер надавил на педаль газа и, скрежеща коробкой скоростей, сорвал машину с места и покатил по территории завода. Петька радовался, что отъезжает от заводских ворот на более или менее безопасное расстояние.

Машина начала притормаживать, и Петька, не дожидаясь, пока она совсем остановится, спрыгнул через задний борт и огляделся. Поблизости никого не было. Он несколько минут постоял на обочине, на засыпанном снегом газоне, еще не свыкнувшись с мыслью, что он на территории завода и ему никто не кричит: «Стой! Ни с места!»

«Да тут целый город!» — подумал Петька, разглядывая длинные, довольно высокие одноэтажные здания с округлыми крышами. Он почти успокоился, отряхнул запачканное в машине пальто, потер свежие пятна снегом и направился вслед за девушкой, которая несла высокую кипу чистой бумаги, привалив ее к груди, а ветер срывал сверху по листочку, по два и разбрасывал на дороге.

Петька заметил, что руки девушки начали опускаться под тяжестью и она стала присматривать место, куда бы положить бумагу, но, не увидев рядом ничего подходящего, устало подбросила ношу поближе к подбородку, сильно откинувшись спиной назад, и засеменила дальше.

— Давай мне твою канцелярию, а то всю растеряешь.— Петька преградил путь девушке и взял у нее бумагу.

Та благодарно улыбнулась ему и сказала:

— Завхоз предупреждал меня — не донесешь, а я не поверила. Уж больно легко показалось, когда подняла.

— Это бывает,— стал успокаивать Петька.— Я иногда по городу на голодуху намотаюсь, а потом в столовой столько наберу — половины не съедаю.

— Я не от жадности. Два раза ходить не хотелось. Ты не в шестой цех?

— Я-то?.. В шестой...—на секунду замявшись, ответил Петька, не имея и малейшего понятия, где этот шестой цех.

Нужно было как-то выкручиваться, а девушка шла чуть позади него, и у нее вряд ли могла появиться мысль стать для него проводником: свой, не к чему дорогу показывать.

— Что-то я не замечала тебя в нашем шестом,— разглядывая Петьку, сказала девушка.

Она, конечно, не думала в чем-то его заподозрить, и он это понимал, но скоро, пожалуй, может и засомневаться: ведь он шагает по прямой, надо же где-то и сворачивать к ее шестому цеху.

— Я не в шестом работаю — в пятом,— после короткого молчания ответил Петька и подумал, что если он сейчас поддержит разговор о цехах, а в них он, как известно, не лучше бабки Матрены разбирается, то как пить дать — погорит. Попробуй нафантазируй, когда не знаешь даже расположения цехов.

Петька сбавил шаг с намерением, чтобы девушка хотя бы на полметра вышла вперед, но в это время она повернула налево и открыла дверь, врезанную в воротах заводского корпуса. В левый бок сразу же ударила струя горячего воздуха. Мелькнула мысль, что поблизости какая-то печка, и Петька бросился в противоположную сторону от припекающей струи и налетел на ящик с металлической стружкой, едва не опрокинувшись в нее вместе с бумагой. В уши ворвался непонятный шум, похожий на шум неисправного радиоприемника, включенного на полную мощность в маленькой комнате.

Встретившись взглядом со смеющейся девушкой, Петька понял, что сплоховал.

— Споткнулся, да? — Она поправила горку бумаги у него на груди.— У нас здесь многие спотыкаются, нужно повыше ноги поднимать. Пойдем, а то от калорифера жарко.

«Так вот откуда горячий воздух,— смутившись, подумал Петька.— А я когти рвать. Силе-е-ен!»

— Ты меня предупреждай,— попросил Петька, уцепившись за спасительную мысль.— А то опять за что-нибудь задену. Я из-за бумаги один потолок вижу.— И он для убедительности подтолкнул бумажную горку поближе к подбородку.

— Теперь не споткнешься.

— Ты думаешь?

— Конечно. Это же наш шестой цех!

— Понятно, шестой,— все больше смелея, ответил Петька.— Где же еще можно так оглохнуть, как не в шестом!

— Да? А ты был в кузнечном? — возмутилась девушка и остановилась.— И вообще, у вас в пятом от одного запаха канифоли голова кругом пойдет!

— Чего-о-о? Да если хочешь знать, у нас в пятом... Кхе-кхе... Да если хочешь знать, у меня от твоих духов еще с улицы голоза разболелась!..

— Отдай бумагу!

Петька не возражал, с усмешкой помахал рукой и деловито пошел между двумя красными линиями на бетонированном полу. Но Петькина деловитость заметно стала падать, когда он, оглянувшись, увидел, как девушка с кипой бумаги прошла на другую сторону цеха и скрылась за деревянной перегородкой. Петька растерялся. Все бы хорошо, но никак не поймешь, где тут можно ходить, а где нет. Справа и слева за красными полосами двумя рядами стояли станки. С ближнего, токарного, с визгом вилась к полу синяя стружка. За станком Петька увидел молодого парня. Он коротким крючком из проволоки отламывал стружку и откидывал ее в сторону, наверно, чтобы не мешала. Петька боязливо перешагнул красную черту, огляделся и нерешительно направился к токарю. Как показалось ему, с этим парнем можно переброситься парой слов.

— Привет! — поздоровался Петька.

— Курить есть? — спросил токарь.

— Есть! — обрадованно воскликнул Петька, поняв, что парень нисколько не удивился ему.— Спички вот забыл,— набивая трубку табаком, посетовал он.

— Поищи в верстаке. Кажется, были,— не отрываясь от обрабатываемой детали, ответил токарь и оторвал полуметровую ленту раскаленной до синевы стружки.

— А где... верстак?

— Что? — с недоумением переспросил токарь, через плечо покосившись на Петьку.

— Спички, спрашиваю, где?

— Да вон же, в верстаке, глухарь! — кивнул токарь на большую, с письменный стол, металлическую тумбочку, рядом с которой стоял Петька.— В верхнем ящике посмотри.— И снова склонился над деталью.

Завизжал перегруженный резец, и с острого языка его поползли сиреневые завитки стружки. Петька выдвинул верхний ящик и среди сверл, резцов и еще какого-то специального инструмента отыскал спички, стал раскуривать трубку, искоса поглядывая на белесую струйку дыма, поднимавшуюся от перегретой детали. Там, где токарь прошелся резцом, деталь отливала матовым светом.

— Нашел?

— Готово. На, покури.— И Петька протянул токарю трубку.

Тот отключил станок, рукавом комбинезона смахнул пот со лба и вынул деталь из шпинделя.

— Не идет, зараза, хоть лопни! — выругался токарь, измеряя деталь.— Не могу дать шестой класс — и все тут.

— Какой? — переспросил Петька.

Он еще не мог привыкнуть к монотонному шуму в цехе. Да и что такое «шестой класс», не имел понятия. Шофер первого класса — другое дело. Как на ладони.

— Шестой.— И подал горячую блестящую деталь Петьке.— Видишь риски на поверхности?

— Вижу..

— Выше пятого контрольный не даст. Вот и полетит в брак.— Токарь взял у Петьки трубку, затянулся.— Хороша! — И боком привалился к верстаку, разглядывая Петьку.

А тот уже с новым вопросом, чтобы самому поменьше отвечать:

— А почему шестой не получается?

— Дрожит старик,— кивнул токарь на станок,— на ремонт просится.

— На новый иди.

— Так мне и дали новый! Думают: третий разряд, так и поломаю. А на этой развалюхе ничего порядочного не выточишь. Расшатан до предела, все допуски съедает. Потому и брак прет.— Токарь с досадой швырнул деталь в стоявшую рядом со станком урну и плюнул вслед.— А мастеру давай план!

— Не давай,—не совсем уверенно подсказал Петька.— Я бы не дал на твоем месте.

— Тут захочешь — не дашь! А я хочу, понимаешь, хочу давать план! Пойду в комитет комсомола — пусть на новый станок ставят. Я на чермет работать не желаю! — все больше злился токарь.

А Петька, осмелев, достал из урны бракованную деталь и, покручивая перед глазами, дивился ее сложной геометрической форме.

— Гожо,— невольно с восхищением похвалил он бракованную деталь и посмотрел на токаря. Ну, конечно, он ненамного старше его, на год-полтора от силы. Иначе бы в армии был.— Давно работаешь?

— Давно-о! Как в прошлом году десятый кончил, так и за станок. Вначале — что ты! — смотрел на него, как на белого медведя. Дотронуться боялся! Если что не так, всегда себя винил: значит, не соображаю. Думал, раз грызет металл, значит, с ним все в порядке. А потом понял: и он не святой, и он из режима выбивается. Ты учеником к нам?

— Да не-ет,— неохотно протянул Петька.— Токарем мне не вяжет.

— Не вя-я-яжет! — передразнил токарь и передал выкуренную трубку Петьке.— Много ты понимаешь в токарном деле!

— Да ты не обижайся,— извиняющимся тоном сказал Петька.— Не нравится мне, так чего ж... Ты проводи меня в пятый цех, а?

— Иль сам дороги не знаешь?

— С профтехучилища направили в пятый,— соврал Петька.

— И кем тебя туда?

— Электромонтажником.

— Хм. Найдут же специальность! — презрительно ухмыльнулся токарь.— Зароются в свои провода, как в паутину, и копаются всю смену. Удовольствие! Пойдем, провожу.

— А мастер твой как на это посмотрит?

— Он давно бы посмотрел,— усмехнулся токарь, вытирая ветошью руки.— Он на диспетчерской, а мы газировочку пить.— И хитро подмигнул Петьке.

— Что у вас, и пить от станка не отойдешь? — засомневался Петька.

— Почему? Отойдешь. Только он не любит, когда часто.

Петька, чтобы чувствовать себя уверенней в незнакомой заводской обстановке и не шарахаться от всякого непонятного звука или горячей воздушной струи, как это было на входе в корпус, на полшага отстал от токаря. Под ногами, пока они выбирались по каким-то цеховым закоулкам на центральный сквозной проезд внутри корпуса, хрустела каленая стружка и острыми концами впивалась в подошву ботинок. Центральный проезд был огорожен невысокой изгородью, сваренной из труб и отделанной древесной плитой. Под потолком, на ажурных железобетонных арках, Петька увидел множество светильников дневного света. Они горели и сейчас.

— Эй-эй! Посторонись! — крикнул кто-то позади Петьки, и тут же послышался пронзительный, неприятный сигнал, как у «Жигулей».

— Прижмись к забору, электрокар скребется,— предупредил токарь и отжал Петьку плечом на безопасное расстояние, не дожидаясь, пока он сам сделает это.— На них одни бабы ездят. И не заметишь, как придавят.

Электрокаром действительно управляла женщина. Она стояла на специальной маленькой площадке, закрепленной в передней части, и ее согнутые в локтях руки крепко держали по рычагу. Как предположил Петька, вероятно, ими и управлялся электрокар. Но больше всего заинтересовал груз: тяжелые трансформаторы с многочисленными выводами проводов.

— В пятый везут,— подсказал токарь.

— Вот это трансы! — удивленно воскликнул Петька.— Знаешь, какая у них моща? Киловатт двадцать, наверно!

— А по мне хоть сто. Пойдем газировочки попьем,— предложил токарь и свернул направо, но Петька не пошел за ним.

— Пей без меня. Я за этой, за карой пойду. Она не быстро.— И поспешил за удалявшимся электрокаром.

Через добрую сотню метров электрокар повернул вправо, прижался к стене и остановился.

Петька и без того догадался, что находится в пятом цехе. В несколько рядов широкие зеленые столы с невысокими бортиками на трех сторонах, над каждым подвешена лампа дневного света — и все это будто запуталось в цветных проводах и плотно стянутых длинных жгутах, свешивающихся с высоких подставок почти до самого пола.

Петька отыскал проход между столами, который был ближе к стене корпуса, и решил, если раньше времени никто не прогонит, пройтись по нему. Подумалось еще, что неплохо бы познакомиться с таким же парнем, как токарь из шестого цеха. Можно, конечно, к кому и постарше подойти, но они обычно такие занятые, что к ним не подступись, а то и поговоришь — на душе скучно станет. На улице бы еще куда ни шло — можно защититься, а здесь завод, и с порядочками, наверно, покруче. Найти бы паренька помоложе! Но попробуй найди! Все над столами, как боги, склонились, колдуют над схемами, тычут паяльниками в оловянную проволоку, и над каждым чуть заметный дымок от жженой канифоли.

Петька старался идти как можно медленней, скашивая взгляд то на левый ряд столов, то на правый. Заметив в конце прохода на небольшом возвышении обычный письменный стол и какого-то мужчину, склонившегося над ним, он поспешно раздвинул висящие сплошной стеной жгуты и обрадовался, когда увидел перед собой парня лет двадцати пяти с русым мальчишеским чубчиком, с худым и плохо выбритым лицом, отчего парень казался переутомленным и даже болезненным, но — главное — не злым. На столе перед парнем лежало несколько пластмассовых плат с закрепленными на них латунными контактами, а немного в стороне — простенькая электрическая схема, в которую монтажник даже и не заглядывал. По всей вероятности, он знал ее на память.

Отложив дымящийся паяльник, электромонтажник устало и как будто безразлично посмотрел на Петьку через плечо, а потом по-хозяйски развернулся к нему на вращающемся стуле и уже более внимательно осмотрел с головы до ног. Он смотрел на Петьку, как на интересную картинку, и что-то молча соображал. Затем так же молча открыл дверцу в столе, вынул литровую пластмассовую кружку, и Петька услышал его глухой, словно чем-то придерживаемый в горле голос: «За газировочкой»,— и протянул кружку.

Петька взял ее, но прежде чем пойти за водой, снял шапку и положил ее на электрическую схему. Электромонтажник с некоторым удивлением проследил за Петькиным маневром и снова развернулся лицом к столу: мол, я согласен, клади свою шапку и мотай за водой.

Шагая по центральному проходу, Петька вдруг обнаружил, что у него появилось странное чувство уверенности, очень маленькой и почти незаметной, но настолько весомой, что для него не так страшна стала встреча с начальством. Ведь если спросят его: «Куда идешь?» — он честно ответит: «За водой, электромонтажники пить захотели». Неужели от этой маленькой правды появилось чувство уверенности?

Когда Петька вернулся с полной кружкой газировки, за столом как будто ничего не изменилось: шапка так же прикрывала часть схемы, рядом лежали платы и радиодетали, а электромонтажник, вероятно, дожидаясь его, курил в кулак.

— Вот спасибо,— протянул он руку за водой и стал жадно пить.

Петьке показалось, что он видит, как прохладные комочки воды один за другим вдогонку катятся по горлу. Напившись, электромонтажник поставил кружку на край стола и еще раз с откровенным любопытством посмотрел на Петьку.

— Чудной ты.

— Почему?

— Без стука вошел ко мне, за водой сходил.

— А куда ж тут стучать? — ничего не понимая, но уже насторожившись, сказал Петька.— Ни окна, ни двери...

— В таких случаях, когда ни окна, ни двери, вежливые люди языком стучат. Как-никак мое персональное место.

Петька так и не мог понять: то ли шутит электромонтажник, то ли издевается над ним, не повышая голоса. Петька уже повернулся, чтобы уйти, но все тот же голос остановил его:

— Да ты погоди. Если проволоки монтажной для телека нужно, за этим не станет. Заслужил. Любой расцветки получишь. Ты с профа, да? Профики все такие: ходят, мнутся, а спросить не спросят, но потом обязательно что-нибудь стибрят.

— Я не стибрить,— хмуро ответил Петька, все еще порываясь уйти.— Я так.

— Это хорошо, когда так,— похвалил электромонтажник и отпил несколько глотков из кружки.— Но вообще просто так по заводу ходить не положено. И профикам тоже. Вам это на уроках говорили, а ты спал.— И поднял указательный палец на уровень глаз.— Какой сегодня день?..

— Понедельник...

— Угадал. Согласно современной всемирной истории, этот день в жизни рабочего класса самый наитруднейший. К сожалению, начальство не понимает ситуации и не снижает план с поправкой на понедельник. А такие вот, как ты, просто так болтаются по цеху и не догадаются помочь.

— А чем? Я могу еще за газировкой сбегать...

— Во! — снова поднял палец электромонтажник.— Начинаешь соображать. Если бы ты так же соображал в схемке,— и он ткнул в электрическую схему, на которой лежала Петькина шапка,— мы бы стали друзьями. Иные профики так со схемами расправляются, глаза на лоб у кадровых рабочих лезут!

Теперь Петька понял, чего добивается от него электромонтажник. «А что если попробовать? Может, и получится...» И он потянулся за схемой. К его удивлению, в ней ничего сложного не было. Маленький блок с тремя сопротивлениями и несколькими конденсаторами. Все это надо спаять на готовой плате. По сравнению с транзисторным приемником такая работа для Петьки представлялась сущим пустяком.

— Кумекаешь?

— А чего тут.

— Ну, тогда садись и выручай рабочий класс.— Электромонтажник вытащил из-за стола складной стул с брезентовым верхом и поставил его перед Петькой.— Я пока сидя подремлю. Чуть что — толкай. Понял?

— Понял,— ответил Петька и, радуясь предложенной работе, расстегнул пуговицы пальто и поудобней уселся на стул.

Электромонтажник уткнулся локтями в стол, положил голову на руки и засопел.

Петька разложил электрическую схему, внимательно рассмотрел сделанную электромонтажником плату, прибросил, как лучше начать новую, и взял паяльник. Работать было приятно: все под рукой — и монтажные провода, и сопротивления с конденсаторами, и бокорезы. Посматривая то на схему, то на плату, Петька оголил конец провода, откусил нужный размер и припаял к контактному язычку. К другому концу он припаял сопротивление и всю эту цепочку подвел к выключателю. Сравнил с готовой деталью и схемой. Кажется, все правильно.

Через некоторое время сделанный руками Петьки блок был отложен к шапке. Теперь ему захотелось засечь на часах, сколько минут он тратит на него. Петька стал проворней очищать и облуживать концы проводов и деталей, поточней и побыстрей укладывать, согласно монтажной схеме, сопротивления и конденсаторы. Вытирая вспотевший лоб чуть ли не после каждой припаянной детали, Петька для

чего-то сдувал с горячего жала паяльника пахучий дымок и между делом негромко напевал:

В хоккей играют настоящие мужчины,
Трус не играет в хоккей.

Увлекшись работой, Петька совершенно забыл, где находится: бубнил себе песню под нос, паял, нюхал дымок от канифоли,— и вдруг перед его лицом появилась чья-то рука. От неожиданности Петька замер. Кажется, она тянется к шапке. К его новейшей заячьей шапке!

Петька, словно под гипнозом, проследил одними глазами, как рука подняла шапку и положила ее на край стола, потом взяла только что сделанную плату и исчезла за спиной. Можно было не сомневаться: за ним кто-то стоит и ему не нужна Петькина заячья шапка, но зато заинтересовала плата. А это тоже не слишком приятно.

Петька мельком покосился на посапывающего электромонтажника, не решаясь будить его, попытался незаметно приподнять локоть, чтобы толкнуть спящего, но услышал над собой спокойный, немного насмешливый голос:

— Не суетись. Человек размышляет!

Петька оробело встал и повернулся в сторону говорившего. Он едва снова не сел от неожиданности, когда увидел перед собой старшего мастера, того самого, который встретился ему в отделе кадров и был свидетелем его провала с «устройством» на работу. Уж этому не соврешь, не скажешь, что из другого цеха или из профтехучилища, как подумал электромонтажник. От мысли, что невозможно выкрутиться, Петька испугался. Надо же! На таком большом заводе — и нос к носу столкнуться! Сейчас или сам побежит к телефону охрану звать, или кого пошлет. И прямиком в милицию... Ну и попался!..

Но, к удивлению Петьки, старший мастер будто и не хотел признавать в нем знакомого, а смотрел на поднимавшегося электромонтажника.

— Ну что? Опять голова болит?

— Сами понимаете,— пробурчал тот, не глядя на старшего мастера.

— Перестаю понимать и прощать больше не могу.

— День рождения у друга...

— Какой по счету? Молчишь... Ну вот что, возьми у табельщицы пропуск и иди домой. А завтра всем участком твою голову лечить будем.

Электромонтажник удрученно опустил голову и стал убирать со стола, а старший мастер снова взялся осматривать изготовленную Петькой плату: подергал за проводки, испытывая на прочность пайку, сличил монтаж деталей со схемой и только потом взглянул на Петьку.

— Жарко?

— Ничего. Терпимо...

— А чего терпеть, когда пальто можно снять.

— Я не дома! — И подумал: «Не узнает, что ли?»

— Это ты правильно заметил — не дома. Вы знакомы? — кивнул старший мастер на электромонтажника, который, не мешкая, поспешно ответил вместо Петьки в оправдание:

— Он из профтехучилища. Интересуется...

— Мне известно, откуда он. Но это ни тебе, ни мне не дает права спать на работе.

— Паяльник один, а он попробовать просил...

— Иди отдыхай! Иди! С тобой завтра.

Электромонтажник, убрав инструмент и детали, кроме платы, которую держал мастер, с упреком посмотрел на Петьку: что ж ты, мол, «профик», не предупредил меня — и поплелся переодеваться.

— Та-а-ак,— с любопытством разглядывая Петьку, нараспев произнес старший мастер.— Твоя работа? — И указал глазами на плату.

— Моя... И еще три штуки,— нехотя ответил Петька, думая, что напаял неправильно и его плохую работу припишут электромонтажнику. А он не такой уж и плохой парень, как думает о нем этот старший мастер. Подумаешь, голова по понедельникам болит! У папана раза по три в неделю раскалывается, и еще не слышно было, чтобы где-то разбирали его.

— Хм. И еще три штуки,— повторил старший мастер.— Говоришь, шестнадцать тебе?

И Петька понял, что надежды его напрасны и он давно разоблачен.

«А что же он не спрашивает, как я сюда попал?»

— И в школе, значит, учиться не хочешь?

— Не хочу...

«И за охраной не торопится...»

— Когда у тебя последний урок был?

— В прошлом году...

«Далась ему моя школа! Сейчас начнет о пользе грамотности. Шут с ним, лишь бы не про охрану».

— Ну что ж,— после некоторого раздумья сказал старший мастер.— Не хочешь учиться — не надо. Чего заставлять насильно людей заниматься докучливым делом. Душа должна быть свободной. Так ведь? — «Скажи ему, без школы нельзя,— рассуждал про себя старший мастер,— ежом закроется. Вон как смотрит! Чуть не по нему — вспорхнет, и прощай. А из него человека делать надо».

— А спаял ты здорово. Молодец!

— Шутите?

— Зачем же.

— Это пустяки,— наконец поверив в свою работу, самодовольно улыбнулся Петька.— Я и не то паял. Вот дома я одну штуку делаю — закачаешься! А у вас не найдется проволочного сопротивления?

— На сколько?

— На сто двадцать ом?

— Можно найти.— Старший мастер присел на стул, на котором только что сидел Петька, и положил плату на стол.— Но сейчас мне, откровенно говоря, некогда: конец смены, график нужно подбить. А завтра найду, честное слово, найду.

— Завтра поздно,— с заметным разочарованием вздохнул Петька, вспомнив, где находится.— И горько усмехнулся, как бы напоминая старшему мастеру о своем незавидном положении на заводе: — Сами понимаете...

— Не расстраивайся. Я тебя выведу — никто не узнает,— заговорщически подмигнул старший мастер.— Сам таким шустряком был.

— Так уж и выведете,— засомневался Петька.

— Выведу, выведу,— снова пообещал старший мастер и спросил: — А паять не надоело?

— Скажете тоже...

— Тогда приходи завтра.

— А кто меня пропустит? Из кадров этот... килька тощая, не хочет даже говорить о работе. Я только узнать пришел, а он уже...

— А ты приходи. К восьми часам приходи, к проходной. Я тебя так проведу — и килька не узнает.

— Гожо.

— Но учти. У меня, как видишь, со временем не густо и с порядком строго,— намекнул старший мастер на случай с электромонтажником.— Без десяти чтобы как штык, и полтинник на обед. Гожо?

— Гожо.

— Пойдем, я тебе схемку дам. До конца смены посидишь, почитаешь ее, а потом вместе домой пойдем. Не возражаешь? Если кто подойдет к тебе и начнет спрашивать, кто ты и откуда, скажешь: выполняю задание Николая Петровича Кулькова. Мое, значит, задание. Понял? — сказал старший мастер и передал электрическую схему Петьке, поглядев на него грустными, чуть усталыми глазами.

Не таким ли и он был лет одиннадцать-двенадцать назад? Всего лишь и разницы — ростом повыше да плечами поуже. Побродил же тогда, погулял с ватажкой сверстников по городским улицам — вспомнить стыдно. Отнятые у девчонок сумочки, кутежи по глухим подъездам, картежная лихорадка до утра, а потом неутешные слезы матери и ранняя смерть отца от инфаркта — все памятью накрепко впитано и порой такою болью отзывается — от себя деться некуда. Столько уж лет прошло, а не знаешь, какою мерою добра с людьми расплачиваться. Страшно подумать, куда бы могла завести его гулевая «свободная» жизнь, не появись однажды в их компании парень блатного пошиба, в какой-то пустяковой ссоре уложивший на асфальт одним ударом кулака запальчивого главаря. А через некоторое время, когда уже стал «своим» парнем, он подбил их пойти колымнуть на разгрузке железнодорожных составов, чтобы заиметь свой законный рубль. Потом каким-то образом и на завод умудрился провести, и не через забор, а через проходную. Целый день они со стариком мастером по цехам ходили, а в обеденный перерыв вместе с рабочими в заводской столовке щи с кашей уминали. Вкусными же они тогда показались! Сильно поредела их компания после этого случая, многие на заводе остались. А парень тот вдруг исчез. Лишь однажды он встретился на улице в милицейской форме. Остановились, улыбнулись понятливо, крепко, по-мужски обнялись, конечно, поговорили и расстались. Вот ведь как получилось! Из одного стакана водку с ним пили, в карты резались, а он милиционером оказался! Узнай они в свое время об этом — и лежать парню в госпитале...

Николай Петрович до боли сцепил ладони и снова посмотрел на согнувшегося над верстаком Петьку, на чуть заметный дымок от сгоревшей канифоли, поднимавшийся с горячего жала паяльника, зажатого в его руке.

Глава 6

Петьке просто не верилось, что он побывал на заводе, даже спаял четыре платы и, если верить старшему мастеру, спаял по всем правилам, а это значит, их могут установить на какую-нибудь электрическую машину. Ему не терпелось узнать — на какую именно, но раньше, чем утром следующего дня, нечего и помышлять об этом.

В Ледовый дворец Петька возвращался той же улицей, вдоль уже знакомого забора. Теперь-то он знал, что там за ним! До сих пор стоит перед глазами огромный заводской корпус с несколькими цехами внутри, а в ушах не утихает шум механического участка. Он еще чувствует левой щекой горячую струю воздуха, ощущает запах дымка от прогретого паяльника и слышит голос старшего мастера: «Приходи завтра... И полтинник на обед...»

Улица, казалось, до отказа забита машинами, трамваями и пешеходами. Не желая опаздывать на матч, Петька ускорил шаг, а потом и вовсе побежал, прокатываясь на скользких ледяных дорожках бульвара. До начала матча оставалось минут двадцать пять, но Петька спешил, чтобы не пропустить разминку игроков. Перед тем, как зайти в Ледовый дворец, он заглянул в кассы — убедиться, не поторопился ли взять билет днем, был ли смысл брать дорогов

место, когда перед началом матча, если мало зрителей, можно взять билет на дешевую трибуну, а потом сесть, где лучше. И никто тебе слова не скажет.

Еще не дойдя до касс, Петька с радостью подумал, что не прогадал. К трем маленьким открытым оконцам выстроились длинные очереди, они так перемешались между собой, что трудно было разобраться, кто в какой стоит. Оставалось еще несколько свободных минут, и Петька решил потолкаться среди любителей хоккея. Он мог спорить с ними чуть ли не до хрипоты, доказывая, почему Александр Якушев против канадцев играет лучше всех наших игроков, а с чехами или со шведами не очень блещет. Особенно нравилось Петьке спорить с пожилыми болельщиками: «А ты знаешь, почему ЦСКА... Много ты понимаешь!.. Мне Харламов двоюродный брат!..» Тут уж за пренебрежительное «ты» на него никто из уважаемых дядей в каракулевых шапках не обижался, и не только не обижались — слушали с интересом. В такие моменты Петьке приятно было чувствовать себя взрослым.

Почти в хвосте очереди Петька увидел Андрея Самарина и со злорадством подумал, как он долго будет мучиться надеждой попасть на матч. Петька все еще не мог забыть драки с Самариным на крыше контейнера и случая, когда он так подло не поддержал идею поднять самолет со дна пруда.

— Привет!

Самарин оглянулся, заметил Петьку, но никакой радости от встречи не испытал.

— Привет...

— За билетиком мучаешься?!

— За ним,— хмуро ответил Самарин, видимо, не желая поддерживать с Петькой разговор.

— А я уже давно достал,— похвалился Петька.

— Тебе чего не достать,— подковырнул Самарин.— Все двадцать четыре часа в сутки твои.

— А у тебя что? Теперь и ты в школу не ходишь.

— В школу нет. А на заводе я сегодня уже работал!

— Тю-у-у! Когда успел?! — с удивлением проговорил Петька. Получалось, Самарин опередил его на один день. Ведь можно же считать, что Петька завтра выходит на работу. Он и сегодня сделал четыре платы, да не какие-нибудь там ученические, а настоящие, которые квалифицированные рабочие делают. Пытаясь казаться равнодушным, Петька заявил: — А я тоже завтра на работу иду, тоже на завод... Ну, я пошел, а то так и опоздать можно. Привет...

— Привет, может, еще на трибунах встретимся...

— Может...— мирно ответил Петька и направился к центральному входу в Ледовый дворец.

Трибуны дворца были заполнены больше чем наполовину. Играла музыка, слышался стук клюшек и шайб. На ледяном поле шла разминка обеих команд.

После начала матча Петька мысленно был на льду с игроками любимой команды и кричал вместе со всеми, когда быстрые и напористые атаки, особенно на первых минутах, одна за одной накатывались на ворота ленинградцев. Он ахал и досадливо бил по коленям, когда шайба пролетала рядом со штангой, и настороженно молчал, если атаковали ленинградцы. В это время такая тишина стояла во дворце — дыхание игроков было слышно. И вдруг — звонкий голос на весь дворец:

— Ленинградцы! Шай-бу!

Этот голос, как показалось Петьке, хлестнул его по затылку больнее, чем шайба. Он круто развернулся и прямо перед собой увидел девчонку с двумя большими бантами на плечах.

— Я вот тебе сейчас как засвечу...— Петька секунду-другую искал подходящее слово, чтобы побольней задеть девчонку,—...по кошачьим глазам!

Девчонка с усмешкой прищурилась и некоторое время задиристо смотрела на Петьку, а потом озорно наклонила к плечу голову и сказала:

— А мне сверху легче тебе засветить. Во! — И подняла бутылку с лимонадом, стоявшую у нее в ногах, над Петькиной головой.

Петька даже рот разинул от такого нахальства. Чтобы какие-то бантики да бутылкой на него замахивались!.. Петька стремительно поднялся и попытался перехватить бутылку, но не тут-то было — девчонка проворно спрятала ее за спину да еще кончик языка показала: что, мол, поймал?

— Да я ж тебя!.. Да я ж,— не на шутку разозлился Петька и по-гусиному вытянул шею в сторону обидчицы.

— Садись, садись, парень! Не мешай смотреть,— прикрикнули на Петьку, и он вынужден был временно отступить.

— Ну, погоди! — пригрозил он.— Я у тебя в первых двух периодах по бантику вырву, а к третьему что-нибудь поинтересней придумаю! И отец не поможет! — Он покосился на сидевшего рядом с девчонкой мужчину.

— А я тут одна. И все равно не боюсь,— ответила, нисколько не смутившись, дерзкая девчонка и снова задиристо выкрикнула над притихшими трибунами: — Ленинград! Ша-айбу!

Петька, когда его команда забила шайбу в ворота ленинградцев, обернулся и крикнул девчонке:

— Вот и словила шайбу!

— И ничего! Все равно ленинградцы выиграют!

— Ха! Это мы еще посмотрим!

От заброшенной шайбы у Петьки даже злость на девчонку как будто пропала. Вот ведь шальная какая! Смело так, на весь дворец — шайбу! Да еще бутылкой пригрозила... Чудная!..

Вскоре Петька, увлекшись игрой, почти позабыл о девчонке, да и шум во дворце стоял раз в десять больший, чем на механическом участке шестого цеха. Попробуй, услышь чей-то голос. И вдруг возле левого уха, едва не касаясь его, показалась знакомая зеленая бутылка. Петька опасливо повернулся, чтобы не ткнуться носом в донышко или, как было обещано, не получить бутылкой по голове. В подобных случаях, как он слышал, мужчин не оправдывают.

— Пить хочу. Открой, пожалуйста! — И Петька увидел рядом со своим лицом голубые, с темными крапинками глаза девчонки. Он даже смутился, встретив их так близко, а потом, когда опомнился, бутылка уже была у него в руке. Каким образом?..

Петька досадливо покрутил бутылку и еще раз с некоторой растерянностью посмотрел на девчонку, а потом не слишком уверенно приставил горлышко бутылки к деревянной спинке кресла. Короткий удар ладонью сверху — и пробка отлетела.

— Чего спинку уродуешь? — с упреком заметил сосед.

— А ты хочешь, чтобы я зубы уродовал, да?— ухмыльнулся Петька и изо всех сил закричал: — Ленинград! Шайбу! — Оглянулся на девчонку — улыбается, на щеках по темному пятнышку от ямочек, на него смотрит.

«Улыбайся, улыбайся! А лимонад у меня!» — подумал Петька. Он нарочно сел вполоборота к девчонке, посмотреть, как она будет реагировать, когда он начнет пить ее лимонад. Запрокинул бутылку над головой и лил прямо из горлышка, пока не услышал не очень уверенное, но достаточно настойчивое:

— Половину оставь.

И Петька оставил. Ровно половину. Вытер мокрый от лимонада рот и передал бутылку, ерзая от жгу-

чего любопытства: как станет пить лимонад эта непонятная девчонка — из горлышка, или у нее по щучьему велению появится бумажный стаканчик.

— И не оставил бы, если б не попросила? — с некоторым удивлением проговорила девчонка.

— Может, и оставил бы,— неопределенно ответил Петька и стал ждать — вытрет она горлышко бутылки или нет. Ему почему-то хотелось, чтобы она не вытирала.

— А кто играет тринадцатым номером?

— У ленинградцев? — уточнил Петька.— Солодухин.

— Нет, не Солодухин,— не согласилась девчонка, всем своим видом давая понять, что она нисколько не верит Петьке.

— На, убедись,— подал тот купленную в фойе программку матча.

— И верно, Солодухин,— будто бы удивилась незнакомка и, к недоумению Петьки, аккуратно свернула из программы кулек, налила в него лимонаду и выпила.

— Ха,— усмехнулся Петька,— думаешь, жалко? Я уже все там наизусть знаю! Тебя как зовут?

— Эллой. Понял? Эллина.

— Ха! Вот это имя. Ты что, гречка?

— А ты манка, да?

— Хм, манка,— усмехнулся Петька, довольный тем, как ответила ему Элла.— Ты черная, имя у тебя греческое, ну и подумал... А я Петька.

После матча из дворца они выходили вместе. Было тихо и морозно. От мелких кристалликов снега, густо зависших в воздухе, при ярком электрическом свете серебрились дома, улица с машинами и прохожими и островерхие пирамидальные тополя. А серебро все падало и падало с неба, и казалось, не будет конца этому задумчивому искристому дождю.

Элла смущенно жалась поближе к тополям, под их реденькую спасительную тень. Ей было приятно и тревожно, что Петька пошел провожать ее. Такого с нею никогда не случалось, если не считать, когда ходили в парк с одноклассниками или в кино. А сейчас рядом с ней идет совсем незнакомый мальчишка. Интересно, в каком классе он учится, в девятом, в десятом?..

— Элла! Хочешь, я тебе смертельный трюк покажу?

— Последний раз в сезоне? — улыбнулась Элла, и Петьке показалось, что несколько серебристых снежинок упали на ее глаза.

— Угадала.

Петька, должно быть, уже раньше заметил впереди накатанную темную ленточку льда. Он разбежался и с задранными вверх ногами заскользил по льду на руках. Ойкнул кто-то из прохожих, а Элла восхищенно захлопала. Петька ткнулся руками в снежный бугорок и ловко, через голову, вскочил на ноги.

— Оп-ля! С вас, мадам, десять копеек! — И довольный Петька протянул к Элле руку.

— За десять копеек я в кино могу сходить. Целых два часа смотреть буду.

— А ты... пойдешь со мной в кино?

— Я? — Элла удивленно посмотрела на Петьку. Как это он так сразу! Они всего-то и знают друг друга несколько часов. И все же отказать Петьке не решалась: город большой, могут затеряться и никогда не встретиться. А он такой смешной и интересный... Петька... И все же Элла ответила не то, что думала. Задрав голову, она посмотрела на дом, к которому подошли, на ледяную дорожку, где Петька только что исполнил свой трюк, и сказала:

— Вот наш дом. Посмотри, какой он высокий! Мы живем под самым небом. Вон тот розовый балкон.

Петька запрокинул голову и среди множества балконов отыскал Эллин. «Вот это домина! — мысленно воскликнул Петька.— Любопытно, а наш поселок оттуда видно?»

— Высокий! Если в окно прыгнуть, полчаса до земли лететь.

— А зачем прыгать? Все через дверь выходят.

— Когда папан в дверях стоит — выбирать не приходится.

— Значит, он недобрый у тебя,— с грустью сказала Элла и с жалостью посмотрела на Петьку.

Она не могла понять, как это можно прыгнуть в окно из-за отца? Ей казалось, что все папы приблизительно, как у нее: рано утром уходят на работу, а когда приходят, немного ворчат, иногда разрешают сходить в кино и в основном сидят у телевизора или читают газеты.

— Он добрый, но вспыльчивый,— рассудительно ответил Петька.— Случается под горячую руку...

Петька замолчал и стал ковырять носком ботинка снег под стволом тополя. Ему был неприятен разговор об отце.

«Работа у него тяжелая. Устает. Да и я ему нервы порядком мотаю». И Петька покосился на Эллу. Нет, она не поймет его отца. Даже Петька, и тот не всегда понимает его. Трезвый, отец хвалится своими заработками, а пьяный — ругает на чем свет стоит и свою работу, и дядю Федю, и себя. Вот почему, скажем, он не любит дядю Федю, а в гости приглашает? И начинают они соображать на двоих...

— Так я приду завтра. Мы пойдем в кино, а? — нерешительно спросил Петька и удивился своему робкому голосу.— Я подойду сюда завтра к семи часам. Хорошо?

— Хорошо... До свиданья.

— Всего.

Петька смотрел вслед Элле, будто видел ее в последний раз. И ему было удивительно, что вот эта невысокая девчонка с дерзкими глазами вызвала в нем какое-то новое, непонятное чувство. И голос у этой девчонки был не такой, как у всех, не писклявый, как у Любки Новоскольцевой.

Петька натянул повыше воротник пальто и медленно побрел по улице, задевая плечом шершавые стены домов. Он шел и вспоминал встречу с Эллой во дворце, бутылку лимонада и скольжение на руках, получившееся с первой попытки.

Глава 7

К проходной завода Петька пришел в половине восьмого, огляделся, не стоит ли где старший мастер, и стал ждать. Старший мастер, как они договорились, должен был прийти без десяти восемь.

Петька с любопытством наблюдал, как прочно сделанные из хромированных труб вертушки пропускали точно по одному человеку. Вахтерша, не останавливая проходивших, разглядывала протянутые пропуска и, если в чем сомневалась, на несколько секунд стопорила вертушку, за которой тут же росла длинная очередь, подобно очередям у хоккейных касс. Только эта очередь была более нетерпеливой, хотя никто и не старался прорваться первым, но покрикивали на вахтершу, торопили.

Перед Петькой проходило так много народа, что он уже стал беспокоиться, как бы не пропустить старшего мастера. Теперь уже Петька, не отрываясь, смотрел на входные двери. Скоро у него зарябило в глазах от нескончаемого потока людей, и все женщины и мужчины стали казаться на одно лицо.

— Здравствуй,— услышал Петька позади себя знакомый голос.— Не знаю, как тебя и звать-величать.

— Петька... Как это я вас не заметил? — обрадованно ответил Петька, разглядывая старшего мастера. Он был одет в тот же синий халат, на голове та же синяя беретка. «Значит, с завода вышел». Петька вспомнил, что старшего мастера зовут Николай Петрович.

— Выходит, не в ту сторону смотрел.— Старший мастер достал из кармана халата проволочное сопротивление и спросил: — Оно?

— Оно-о! — счастливо заулыбался Петька.— А сколько за него? — И поспешно спрятал сопротивление в карман пальто.

— Да нисколько. Со списанной установки снял,— сказал Николай Петрович и пытливо посмотрел на Петьку, потом кивнул в сторону вахтерши: — Ну как, не раздумал?

— Хе! — кисло усмехнулся Петька.— Знаешь, как она пропуска проверяет — не прорвешься.— И, будто рассуждая сам с собой, неуверенно добавил: — Вот если вчерашним способом попробовать...

— Вчерашний есть вчерашний, поэтому не годится. Это моя знакомая,— снова кивнул старший мастер на вахтершу,— я с ней договорился. Не бойся, смелей шагай на вертушку, а я следом за тобой.

Петька недоверчиво вклинился в очередь, чувствуя, как старший мастер ободряюще подталкивает его в спину, и все же перед вертушкой остановился, оглянулся, будто хотел убедиться, что за ним стоит старший мастер, а не кто-то другой.

— Со мной он,— сказал тот вахтерше, и вертушка послушно ослабла перед Петькой и подалась по часовой стрелке, открывая проход. Сразу же за проходной Петька поднялся по широкой бетонной лестнице с пятью или шестью ступенями вверх и остановился. Слева от него, совсем близко, были въездные ворота на завод, через которые он уже тайно проезжал.

Николай Петрович привел Петьку в знакомый цех, указал на свободный стол, на котором были уже разложены радиодетали, известные ему платы, паяльник и схема.

— Будешь паять платы. Десять штук за смену тебе. Обед у нас с двенадцати до часу, а конец смены знаешь когда.

— А они вам нужны... эти платы? — засомневался вдруг Петька и открыто посмотрел в глаза старшего мастера, не скрывает ли он что, все же завод, а не школьный кружок.

— Нужны и много. В конце смены сам понесешь к контрольному мастеру. Вчера ты сделал их по третьему разряду, правда, одну с браком...

И Петька остался один. Он долго не мог начать работу, думая о странном старшем мастере, который не только не выдал его охране завода, но и доверил паять платы. Ничего! Он постарается спаять их получше вчерашних!

За рабочий день к нему несколько раз подходил старший мастер. Подойдет молча, постоит за спиной, покрутит в руках какую-нибудь из законченных плат и так же молча уйдет. После его посещения всякое приходило в голову Петьке: правильно ли выполнил монтажную схему, не удлинил ли проводку, не слишком ли закоротил выводы сопротивлений. Петька не один раз проверял платы по схеме, разводил пинцетом припаянные радиодетали на определенное расстояние, и к концу смены, когда горели обожженные паяльником кончики пальцев, он был уверен, хотя где-то в душе и росло беспокойство — контрольный мастер примет все десять сделанных им плат. Он мог бы спаять больше, но побоялся при спешке испортить детали. Заглядывал к нему и знакомый электромонтажник, которого старший мастер грозился вызвать на общее собрание участка. Он тоже похвалил платы и обещал в конце смены заглянуть к Петьке.

И зашел. Петька оторопело наблюдал, как он отобрал несколько готовых плат, пренебрежительно бросил: «Привет семье!» — И направился к своему столу.

— Ты куда платы понес? — после некоторого замешательства спросил Петька.

— Не твое дело, профик! Сиди и не рыпайся!

Петька догадался: электромонтажник хочет отобрать у него самые лучшие платы и на них подработать. Он схватил паяльник, выдернул вилку из розетки и устремился за электромонтажником.

— Отдай платы, синий! — пригрозил Петька, выставив паяльник, как пику.

— Ты свихнулся, профик! — опешил от такого напора электромонтажник.— Я хотел помочь отнести на контроль...

— Положь на место!..

Петька опустил паяльник, когда все платы лежали у него на столе.

Обозленный электромонтажник недвусмысленно обещал:

— Ничего!.. Я тебя сделаю где-нибудь за поворотом!

— Отверни рожу, синий! Или клеймо приложу!

Электромонтажник с оглядкой побрел на свое место, а Петька еще долго не мог успокоиться, перекладывал детали с одного края стола на другой, включил паяльник и почти сразу же выключил его, вспомнив, что через двадцать минут конец смены и нужно поторопиться со сдачей плат. Он собрал их аккуратной горкой на согнутой в локте левой руке и, слегка откинув назад голову, направился к контрольному мастеру.

Глава 8

Давно Петька не чувствовал такой радостной усталости. Он не помнит, когда у него столь быстро проходил день. А с платами получилось просто великолепно, все до одной принял контрольный мастер. А тут как раз, к удовольствию Петьки, старший мастер подошел, стоит себе рядышком и молча наблюдает, как платы перекочевывают на стеллажи. Потом подмигнул одобрительно и сказал: «До завтра»,— и пошел по участку. Значит, снова будет встречать у проходной. А еще он днем говорил, что с Петькиной головой в учениках долго задерживаться стыдно и он надеется месяца через три перевести его на второй разряд.

После работы Петька встретился с Эллой. В кино на восьмичасовой сеанс они билеты не достали, пришлось идти на десятичасовой. Элла страшно переживала, а потом немного успокоилась, ее развеселила английская кинокомедия «Мистер Питкин в больнице». И все же, когда он прощался с ней возле ее дома, видно было, как переживала она, что задержалась на улице, не договорившись с родителями.

Петька опоздал на последний автобус. Из города в поселок придется идти пешком. Ближе к окраине донеслись до Петьки соленый мужской говорок, бренчанье гитары и песня:

Разгуляйся, пройдоха и бестия,
Пой, гитара, поласковей пой.
Отчего мне сегодня невесело?
Время — пруд, денег нет на пропой.

«Во дают!» — улыбнулся Петька, оперся плечом о дерево и стал поджидать. Он не боялся таких компаний: пару слов — и он свой человек. В крайнем случае за себя он всегда постоять сможет. Все-таки Петька решил пропустить ребят, не заговаривая, но они замедлили шаг возле него, остановились и окружили полукольцом. Один из них, высокий, с подвешенной на шею за алую ленту гитарой, пожевывая мундштук погасшей папиросы, процедил сквозь зубы, обращаясь к Петьке:

— Купи гитару.

Петька понял — ввязываться в ссору опасно, пятеро других парней стояли уже наготове и малейшая оплошность с его стороны могла вызвать драку. А драка, как ни крути, не в его пользу. Петька тревожно глядел в незнакомые лица агрессивно настроенных парней, молчаливо ожидающих ответа. Бежать некуда — окружен, но и отступать он не любил.

— Сколько?

Высокий помусолил папиросу и сплюнул:

— Пять.

— Барахло, наверно,— притворно засомневался Петька и протянул руку за гитарой.

Деньги у него были, и торговаться он не боялся. Важно было не разозлить ребят, иначе все отнимут да еще отдубасят.

— За кого ты нас принимаешь? — обиделся высокий, но гитару все же передал Петьке.

— Не вас, а гитару,— спокойно ответил Петька и деловито провел пальцами по тугим струнам.— Так сколько?

— Тебе же сказано — пять,— недовольно проворчал стоявший рядом с высоким маленький, тщедушный парнишка в длинных, собранных книзу гармошкой брюках.

— А точнее? — продолжал рядиться Петька, понимая, что чем смелее он будет вести себя с этими парнями, тем больше шансов разойтись с ними помирному.

— Хм, точнее,— хмыкнул высокий.— Если точнее, то четыре двенадцать или три шестьдесят две — содержимое одно и то же. Но эта арифметика ночью не годится.

— На твой сизый нос и пары рублей хватит, ну да ладно, бери пятерку,— с добродушной усмешкой сказал Петька, отдал деньги и приложился ухом к грифу гитары.— От ветра поет. Музыкальная штука! — и запел:

Запрягай, отец, кобылу,
Сивую, лохматую,
Я поеду в ту деревню,
Цыганочку засватаю...

Голос Петьки был сочным и свежим. Захваченный мелодичными звуками гитары, пел он легко и красиво, а когда кончил, высокий одобрительно похлопал его по плечу.

— А звучит! Поешь, что надо,— похвалил он и неожиданно предложил: — Айда с нами твою покупку обмывать!

Вспомнив, что уже за полночь, Петька нерешительно замялся:

— Где ее найдешь? Все давно закрыто.

— Найдем! — твердо пообещал высокий и легонько подтолкнул Петьку.— Вся ночь наша!

По улице шли вразвалочку, закусив, как удила, светящиеся красными огоньками папиросы. Задымила и Петькина трубка.

— Где ты такой коптильник достал? — полюбопытствовал один из парней.

— У твоей тетки слямзил! — добродушно отшутился Петька.

— Не пыли!.. Я серьезно.

— На базаре у одного цыгана выменял.

— А-а-а-а!

Завернули за угол одноэтажного дома и вошли в темный узкий переулок, минут через десять остановились возле закрытого ларька, под крышей которого болталась на ветру маломощная электрическая лампочка. Вокруг не было ни души. Только окна одноэтажных домов темнели расплывчатыми прямоугольниками, равнодушно посматривая на ребят.

— Ты чего задумал-то? — насторожился Петька.

— Не трусь! — с ноткой презрения отрезал высокий.— Со шпаной не связываюсь! — Вплотную подошел к двери ларька, постучал негромко.

— Дядя Гриш! А дядь Гриш!..— Прислушался. В ларьке было тихо, на стук никто не отозвался. Высокий разгладил пятерку, свернул ее трубочкой и перед тем, как сунуть в щель между стеной и дверью, еще раз постучал, но уже громче и настойчивей: — Дядь Гриш. А дядь Гриш! — Замер, вслушиваясь в тишину за дверью, потом, видно, поняв, что попытки его купить бутылку вина напрасны, с чуть заметным сожалением посмотрел на Петьку.— Как видишь, автомат не сработал.

— А кто этот... дядя Гриша? — полюбопытствовал Петька.

— Да сторож. Муж продавщицы. Она днем торгует, а он по ночам.

— Фирма! — проговорил кто-то насмешливо и добавил с некоторой завистью в голосе: — Живут же гады! А я половину каникул с отцом на стройке вкалывал, магнитофон зарабатывал.

— Живу-ут,— с сарказмом протянул высокий и сел на пустой ящик.— Приснись мне такая жизнь — с кровати бы грохнулся! — Взял у Петьки гитару, и пальцы его, тонкие и вялые, неумело защипали струны.

Я там бывал, где ветер
Снегами ворошил,
Я там бывал, где ветер
И больше не душн...

Пел высокий тоскливо, невнятно, нервно подергивая головой в такт немудреной песенке. И было в его глуховатом голосе столько беспокойства и грусти, словно он только что вылез из поезда в незнакомом многолюдном городе и все не решался спросить: «Скажите, пожалуйста, а как мне найти...»

— Кончу десятый,— неожиданно оборвал он песню,— в мореходку в Ленинград подамся.

— У тебя трояков навалом — не примут.

— Шалишь, брат! — отрезал высокий.— Я не из тех, кто на шкентеле втихаря языком треплет: поднажму перед экзаменами — и ни одной не будет. А после мореходки на Север попаду. Я его днем и ночью вижу: айсберги с нашу школу, птичьи базары и льды, льды, льды. Понимаешь, иногда вижу, как мой корабль крошит, ломает их, в борта бьется черная вода, а я подаю команды: «Малый вперед! Самый малый вперед!»

— Ну и сказал! — не согласился один из парней.— Когда льды, нужно на большой скорости. Чтобы с ходу таранить!

— Слепота! — снисходительно ответил ему высокий и передразнил: — На полной скорости! Так и корабль потопить можно!.. Спички!

Низкорослый паренек суетливо достал коробок и чиркнул спичкой, осветив посиневшее от холода, в крупных конопушках лицо.

— А я так, братва, думаю,— глубоко втягивая папиросный дым, продолжал высокий,— пусто мы живем, время в дугу скручиваем...

— Брось загибать!..

— Помолчи, салага, когда старший говорит! Скоро по два десятка стукнет, а в мыслях полторы песни про девах да где бы рублевку прихватить. Тупари — во-о! — И с силой постучал кулаком по лбу.

— Это, по-твоему, я тупарь? — возмутился низкорослый.— Если я восемь кончил и бросил, то тупарь, да? Я зубрилой не был!

— Хватит пылить! Ты мне свои умственные способности не расписывай,— с издевкой проговорил высокий.— Ими, браток, в деле ковырять надо. Вон с дружком сегодня,— кивком головы указал он на молчавшего до сих пор коренастого парнишку,— зашли к тетке моей на чаек, а она в слезы. «Исправь,— говорит,— племяш, телевизор, третью неделю жду мастера!» Ну, а я в нем ни бум-бум. Дружок исправил. Голова!

— Ладно тебе...— смутился «голова».

— А мне летом по области побродить хочется,— размечтался парнишка, сидевший на ящике рядом с Петькой.— Не одному, конечно. Одному скучно. Махнуть бы группой, по лесам, по оврагам полазить... Красота.

— Махни — кто тебе мешает,— ответил ему низкорослый. — Только справками запасись, чтобы милиция за бродягу не посчитала. Она ведь чуть что — за шкирку и в детскую комнату.

— А у меня дело есть, ребята,— вдруг сообщил Петька.

— Воровать не пойдем,— сразу же отрезал высокий и исподлобья посмотрел на Петьку.— А что за дело?

Петька помедлил, как бы раздумывая: говорить или не говорить о деле, сознавая, что своим молчанием разжигает любопытство парней.

— Милиция заинтересуется? — спросил кто-то.

— Да как сказать,— помялся Петька,— пожалуй, могут. Я одним чистоплюям предложил это дело. Что ты, мама моя!..

— Перетрусили?

— Не тяни резину — говори! — нетерпеливо потребовал высокий.

Остальные ребята поплотней сгрудились полукругом вокруг Петьки и тоже ждали. А тот неторопливо достал свою трубку, набил табаком и запалил.

— Старый заброшенный пруд у нас есть. В рабочем поселке на станции я живу. Так вот надо плотину у него раскопать и спустить воду.

— Это зачем? — спросил высокий.

— Один знакомый мне дед-фронтовик рассказывал: туда во время войны самолет наш упал. Достать бы... Дед говорит, летчик не выпрыгнул.

Некоторое время вокруг Петьки слышалось одно лишь взволнованное дыхание. Каждый, наверное, взвешивал: стоит или не стоит идти разрушать плотину и что можно «схлопотать» за это дело. Может, кто-то думал о том неизвестном летчике, который защищал их город и безвестно погиб. Лежит, возможно, под слоем ила забытый, непохороненный, а где-то родственники вспоминают о нем, как о без вести пропавшем.

— А если врешь?

— Что ж я тебе, справку с печатью представлю?— обиделся Петька, и в трубке его посветлел огонек.

— Дай курну,— попросил высокий.— Так, говоришь, чистоплюи отказались?

— Чего повторять...

— А мы какие?

— Вы не знаю. Меня, по некоторым данным, в поселке в пример не ставят.

— А лихо бы! — загоревшись Петькиной идеей, проговорил низкорослый.— Такой бы водопадик устроили!

— Тебе бы все водопадики, рюмочки,— презрительно отозвался высокий и выругался,— чума болотная! — И снова обратился к Петьке: — А что там за плотиной?

— Колодцы на частных огородах.

— Затопим,— решительно заявил высокий.— Частная собственность нас не волнует. А еще что?

— Мосток деревянный...

— Пусть плывет! У нас на станции дров много — новый сделают.

— Больше ничего. Дома старые там посносили. Все голо. Слышал, стадион хотят строить.

— Я готов хоть сегодня копать! — воскликнул «голова».

— Можно и сегодня водопадик устроить.

— Как я понял из нашего экстренного заседания, против никого нет,— подытожил высокий и посмотрел на Петьку.— Как видишь, музыкант, мои ребята готовы ломать твою плотину в срочном порядке. Инструментом обеспечишь?

— Заготовил.

— За мной! — Высокий рывком поднялся с ящика.— Автобуса мы не дождемся до утра. На станцию пойдем пешими.

— А почему пешими? — возразил один из парней.— Выйдем на улицу и попросим шофера любого грузовика подбросить до станции. Что ему стоит семь-восемь километров?

— Идея!

Наперебой обсуждая различные варианты разрушения плотины, ребята кучно двинулись на проезжую часть улицы, где еще изредка проезжали запоздалые машины. Кто-то предлагал отложить дело на следующую ночь, но его тут же дружно заставили сдаться. А низкорослый, сомневаясь, что они смогут прокопать плотину за одну ночь, предложил «увести» со стройплощадки бульдозер. Но его подняли на смех: во-первых, это пахнет воровством, а во-вторых, никто не умеет водить трактор, тем более с огромным ножом впереди. Низкорослый не стал защищать свою «идею», но дипломатично отстал ото всех на несколько шагов и сделал вид, что увлечен резьбой по дереву, строгая перочинным ножом срезанную с дерева ветку.

Первую же встретившуюся машину атаковали всей компанией, с криком и шумом кинулись чуть ли не под колеса. Испуганный шофер бросил грузовик на тротуар, едва не врезавшись в дерево, и, отчаянно сигналя, на полном ходу скрылся за поворотом.

— Ошалел,— усмехнулся высокий.— Теперь до самого гаража на четвертой будет шпарить.

— Ошалеешь тут! Вон как набросились! А надо голосовать. Поняли?

Попробовали голосовать. Три машины встретили с поднятыми руками, и все три, не снижая скорости, проскочили мимо.

— А эти что? Тоже ошалели? — подковырнул низкорослый своего вожака.

— Этим до нас дела нет. Все в подъезд! По свистку ко мне. А ты, музыкант, останься,— сказал Петьке высокий.— Крючком будешь.

— Ха,— усмехнулся Петька.— Крючком!.. Говори, что надумал. Вслепую не люблю.

— Все будет в порядке. Садись на дорогу. Да не так, не на корточки! Во-от!

— А дальше что?

— А дальше сиди. Я тебе буду скучные анекдоты травить.

— Валяй. Я тебя понял. Но анекдотики повеселей.

На перекрестке показался маленький служебный автобус. Его желтые габаритные огоньки быстро приближались к двум парням на дороге.

— Ложись! — отрывисто приказал высокий и тут же ухватил упавшего навзничь Петьку за кисти рук.— Закрой глаза и не шевелись! — И стал неумело делать искусственное дыхание, размышляя вслух: — Если на такой крючок не поймается, то уж точно — сволочь.

Высокий, как ни хотелось, не смотрел в сторону приближающегося автобуса, только проворней заработал Петькиными руками, будто на него налетела мошкара.

— Да не лупи ты в подбородок!

— Терпи, музыкант! Затылком чувствую — тормозит. Объезжать и удирать не будет.

— Быстрей бы, все штаны промокли.

Автобус притормозил и, как показалось Петьке, остановился чуть ли не возле его головы.

— Что с ним? — услышал он голос шофера.

— Лежит вот... Не пойму — то ли дышит, то ли нет.

Петька услышал стук подошв по ступеням автобуса и почувствовал, как наклоняется над ним шофер. В это время по свистку высокого из подъезда выскочили поджидавшие сигнала ребята и вихрем влетели в автобус. Шофер после секундного замешательства бросился к баранке, включил зажигание, но, поняв, что опоздал, мотор запускать не торопился. Низкорослый сел справа от шофера на первое боковое сиденье и не без намека построгивал палку.

— Тише, не надо кричать,— начал успокаивать шофера высокий, хотя тот и не собирался кричать.— До станции семь километров. Так ты нас туда без шума. Договорились?

— Ясное дело! — с подавленной обреченностью ответил шофер.— Мотаешься целыми днями, а тут вот такие...

— Семь километров!

Шофер, больше не пытаясь продолжать разговор, включил скорость, а высокий, взяв у одного из ребят гитару, запел:

Я кричал, мол, что вы? Обалдели?
Ну, что ж вы уроиили шахматный престиж?
А мне сказали в нашем спортотделе:
Вот, говорят, прекрасно, ты и защитишь!

Последнюю строчку вразброд подтянули все, в том числе и Петька, хотя песни этой не знал. Дольше всех тянул низкорослый. Наверно, хотел выделиться голосом.

Но учти, что Фишер очень ярок,
Он даже спит с доскою, сила в нем!
Он играет чисто, без помарок,
Ну ничего, я тоже не подарок,
У меня в запасе ход конем.

Низкорослый бросил палку на пол автобуса, положил перочинный ножик в карман и полкуплета отплясал чечеткой. Не удержавшись, плюхнулся Петьке на колени и пробормотал:

— У меня в запасе ход конем!

— Сделай его на свободное сиденье,— невежливо попросил Петька.

— А ты остряк! — огрызнулся тот.— Смотри, а то водопадик не стану делать!

— Ты не для меня его делаешь, а для того, кто там лежит.

— На патриотизм бьешь?

— Да сиди ты, успокойся.

Когда въезжали в поселок, Петька все еще не решил, где остановить автобус: у дома или где-нибудь в сторонке, а потом подойти пешим. Мало ли что завтра взбредет в голову шоферу! Запомнит дом, позовет милицию — и привет! А после отец лупку устроит.

Петька улыбнулся, вспомнив, что еще не говорил ни отцу, ни матери о работе на заводе.

«Пусть думают — шатается, а я им бац первую получку и пропуск на завод! Вот комедия будет!»

Автобус Петька попросил остановить, не доехав до дома метров триста. Так он посчитал надежней. Когда автобус на перекрестке скрылся за магазином, Петька собрал вокруг себя ребят и сказал, что ломы и лопаты лежат у него дома, только их надо втихаря взять и никого не разбудить. Возле дома он попросил всех остаться на дороге, а сам открыл проволочным крючком щеколду двери в заборе и исчез во дворе. Вернулся он через несколько минут с двумя лопатами и тремя ломами, в сопровождении трех собак.

— Веди на пруд! — приказал высокий.— Ты, музыкант, будешь временно моим помощником. Ребя! Разбирай лопаты и ломы и айда за музыкантом!

Петька, как проводник, шел первым, рядом с ломом на плече шагал высокий. Из подворотен часто выскакивали сонные собаки и захлебывались от лая, но, заслышав утробный рык крупных Петькиных псов, с паническим визгом скрывались за заборами.

По пути к пруду Петька рассказывал высокому про деда-фронтовика, и высокий пообещал ему перекопать все дно пруда и найти самолет. В крайнем случае, говорил он, можно попросить и брата, который работает на экскаваторе.

— Вот она, плотина,— остановился Петька на небольшой, вытянувшейся лентой возвышенности.

Оглядевшись, ребята заметили в реденьком свете луны ледяное поле пруда, а позади — крутой спуск с плотины.

— Ну что? Начали? — И Петька первым ударил ломом в мерзлый грунт.

— Не спеши, музыкант. Не с того места начал,— остановил Петьку высокий.— Нужно снизу начинать. В основании плотины что-то вроде туннеля копать.

— А ты последним перед водой станешь дыру пробивать? — с подковыркой спросил низкорослый.

— Не бойся, тебя не заставлю. Эх! Пропадай мое пальто! — И с ломом в руках бросился вниз по склону, и вскоре послышались редкие, но сильные удары в основание плотины.

Перестук ломов и лопат о мерзлый грунт был похож на короткие пулеметные очереди. Быстро разогревшиеся от непривычной работы ребята посбрасывали с себя пальто и остались в одних пиджаках и спортивных куртках.

Земля поддавалась неохотно. У Петьки уже лопнули на ладонях скороспелые мозоли, и раны горели, как будто в них насыпали перца или соли. А он все долбил и долбил ломом оледенелый грунт, в душе переживая, как бы не ушли ребята и не оставили его одного.

— Кончай работу, музыкант! — услышал он за спиной голос высокого и с тревогой обернулся.— Не проклевать нам ее.

— А как же... самолет? — Петька, прижав к груди грязный лом, со страхом ожидал ответа.

— Ты знаешь, где сток у пруда?

— Знаю... Вон он, в начале плотины.

— Знаешь, а не сказал,— упрекнул высокий.— Хорошо, что мне в голову стукнуло по плотине пройтись. Там такая техника — через час по дну пруда ходить будем!

— Ты про ворот говоришь? Которым ставок поднимают, чтобы воду спустить лишнюю? Или когда огороды поливали...

— Ну да. Как оно там, ставок или заслонка. Поднять эту штуку надо, музыкант, поднять! Понял?

— Так льдом все заросло — с места ничего не стронешь.

— Сколем, музыкант. Айда!

Высокий собрал ребят и подвел к узкому, но глубокому овражку, полузасыпанному снегом и разрезавшему плотину почти до самой кромки льда. Овражек упирался в деревянный подвижный ста-

вок с воротом наверху, обросшим округлыми наплывами льда. На дне овражка из-под ставка выбивался ручей. Лед скалывать начали сверху. Тяжелые куски, упавшие в ручей, растаскивали по дну овражка. Ставок, сделанный из плотно подогнанных деревянных брусьев, ощетинился фонтанчиками и, казалось, выгнулся дугой под мощным напором воды, и некоторые из ребят засомневались, что его можно лоднять. Скорее лопнет трос или сломается ворот. Уже давно никто не уворачивался от холодных струй воды, ни на ком не осталось и сухого островка одежды.

— Можно попробовать поднять ставок,— предложил высокий и стал взбираться с ломом в руках ло крутому склону овражка на верх плотины.

Все собрались у ворота. Высокий рассмеялся, заглядывая в лица парней и не узнавая.

— Это ты, что ли, «голова»?

— Я...

— Ну и глины же в твоих кудрях!

— Он не как все, он головой работал,— сострил низкорослый, соскабливая ногтями грязь с лица.

— Пора лоднимать — рассветает,— встревожился Петька и первым ухватился за ворот.

— Многовато воды пойдет,— не торолился высокий, размышляя о чем-то.

— За колодцы и мост боишься?

— Сдались мне твои колодцы! Как бы какую старушенцию не утопить.

— Говорю тебе — нет там никого,— упрямо твердил Петька,— в эту низину и днем никто не суется — ло колено увязнуть можно, а ты — старушенция.

— А ну, взялись, ребята! — решился наконец высокий.— Пока нас не прогнали отсюда!

Несмазанный ворот заскрипел в осях, ржавый трос натянулся и будто зазвенел.

— Рванем, братва! Еще раз! Еще! С разгона! Взяли! Оп! А ну еще!

Жалостливо свистнул, не выдержал старый трос, лопнул и змейкой лег у ног высокого.

— Это все,— сокрушенно вырвалось у кого-то.

— А что если выломать один из направляющих брусьев? Тогда зта штука под давлением воды вылетит, как пробка из бутылки шампаиского,— клацая зубами, радостно зачастил низкорослый. Он уже иачинал замерзать, его худое, в мокрой одежде тело сотрясала дрожь.

— Замаичиво,— после некоторого раздумья согласился «голова».— Только вот вопрос, куда полетит зта «пробочка» и ие утопит ли кого-нибудь из нас шампанское. Ну, кто смелый? Ты пойдешь? — с усмешкой в голосе спросил он низкорослого.

— И пойду.

Низкорослый схватил самый тяжелый лом, и, не удержавшись на ногах под его тяжестью, упал на склоне овражка, и заскользил на боку к основанию ставка. Вскоре все услышали редкие и слабые удары лома о дерево.

— А ну, катись оттуда! — лриказал высокий.— Выламывать направляющий брус буду я.— Посмотрел на молча пододвинувшегося к нему Петьку и добавил: — И музыкант. Всем остальиым вниз по ручью. Становитесь метрах в двадцати друг от друга. Поияли?

— Соображаем,— ответили ему.— Не лромахнемся, так выловим.

Петька и высокий пареиь, лрихватив ломы, спустились к ручью. Осмотрев внимательно ставок, оба согласились, что отламывать иадо левый направляющий брус, он был намного тоньше правого и, казалось, прогнил насквозь. Почти тотчас поняли: вдвоем одиовременно работать иельзя, только будут мешать друг другу. Сильиые руки высокого вогнали лом в щель между брусом и ставком. Потянув лом на себя, используя его как рычаг, высокий почувствовал, как подался брус, как ударила из-под него мощная струя. Слегка отпустив лом, он сказал, оглянувшись на Петьку:

— Хлипкое сооруженьице. Как бы сразу не завалилось. Кому-то из нас наверх, а, музыкант?

Петька сунул руку в карман — лопалась трубка, отломил конец у нее, показал высокому, лотом завел руки за спину и быстро поднял сжатые кулаки перед собой. Высокий коснулся лравого. Петька разжал кулак и показал лустую ладонь.

— Тебе уходить.

— Ладно,— нехотя согласился высокий и лобрел вниз по ручью, остановился, оглянулся через плечо и сказал: — А ты ничего мужик. Звать-то тебя как?

— Петька.

— Ну, давай, тезка, круши. И не зевай в случае чего...

Петька остался один перед ставком. Мелькнула мысль: бросить все и бежать. А как же самолет? А как разговоры, что Петька самый смелый и отчаянный из поселковых ребят? Но страх есть страх, и, как понял Петька, с ним не всегда легко справиться. Как, налример, в зти минуты. А если бы тот летчик, который над их поселком один против четырех сражался и сбил фашиста, так же боялся, как Петька, и сбежал? А он не сбежал и до конца вел бой. Дед Авдей говорит, что он перестал стрелять, патроны кончились, но все равно не улетал.

А тут стенка. Стеночка! Шибануть лару раз ломом, отодрать брус и бегом!

Петька поудобней лерехватил лом, изо всех сил вогнал его лод брус и потянул на себя. Почти тут же Петька почувствовал жесткий, как булыжником, удар воды в грудь и бросился бежать. Он уже не видел, как дверью раскрылся ставок, вылустив тяжелый холодный вал воды. Он настиг Петьку, сбил с ног, лодмял и локатил бревном, забивая грязью рот, глаза и уши. Петька судорожно целлялся за землю и, останавливая сжатыми губами рвущуюся в горло воду, слабел. Ему чудилось уже, как летит он в темную, обволакивающую тишиной бездну...

С одежды высокого тонкими струями стекала вода. С тоскливой растеряиностью взглянув иа своих товарищей, он молча лоложил на снег в двух метрах от бушующего водяного потока безвольное Петькиио тело и подавленно склонился над иим. Потом встреленулся вдруг, затормошил за плечи, заколотил ладоиями по щекам, приговаривая призывно:

— Петька! Петька! Ну чего ты!.. Петька!

Петька, с трудом разлепляя веки, заллывшие липким слоем грязи, бессмыслеино остановил взгляд иа склоиившемся над ним высоком парне.

— Шуми-и-ит...— тихо проговорил Петька, будто спрашивая товарища: «Ну что там?.. Или зто в голове у меня?..»

— Шумит, Петька! Вода шумит!

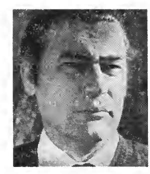
Глаза Петьки сузились, и в иих слабой искоркой засветилась радость.

— Живем...— услышал высокий парень, лодмигнул Петьке и, отвериувшись, протер кулаками глаза.

Рядом молча стояли усталые товарищи. И никто из них не видел, как освещеный ровным матовым блеском рассвета, под сломавшейся крышей льда, обиажился согнутый, искалеченный винт самолета.

г. Саратов.

Леонард Кондрашенко



✪

Мы с тобою навеки останемся тут,
Где так медленно реки России текут.
Где гора не гора, где беда не беда,
Где крутая пора,
словно с гуся вода!

Где березы до пят — в подвенечной фате,
А над ними трубят журавли в высоте.
По дороге на юг — сто полей, сто полей.
Ты лети, белый пух,
с тополей, с тополей!

Мы останемся тут до последней строки,
Где корзины плетут не спеша старики;
Учат землю любить, пуще глаза беречь:
Лей — водой не разлить!
Жги — огнем не прожечь!

Фарфористка

Мне в Дулево подарили
Сокола фарфорового.
— До свиданья! — говорили,—
И — до скорого!

Мне в музейной чашке чай
Там заваривали.
Приглашали: «Приезжай!»
Уговаривали.

«Чай заварим не такой,
Большей крепости!»
Дым красивый над рекой
До нелепости.

Нету дыма без огня,
Без горячего,
А огонь-то на меня
Заворачивал!

Там у ставенки резной
Не без риска я
Познакомился с одной
Фарфористкою.

А знакомство, как фарфор,—
Дело тонкое.
Плыл, как вечер, разговор
С той девчонкою.

Очень хрупкая стезя —
Снег фарфоровый.
До свидания, друзья!
И — до скорого!

Ледоход

Опять, застигнутый весною,
Я вспоминаю давний год —
Год перед самою войною,
И небывалый ледоход.

Он начался, как бой, с рассвета.
Загрохотало и — пошло!
И поглядеть на чудо это
С утра сбежалось все село.

Река, взбесившаяся словно,
Рвалась, как лошадь без узды:
Несла мосты, дороги, бревна,
Стога. Но это полбеды.

По ней, по самой середине,
Плыла безумная коза!
Она была на серой льдине,
Как оброненная слеза...

Глазами бешено вращала,
Расставив ноги широко,
А козье вымя распирало —
Перегорало! — молоко...

И вот тогда, зевак раздвинув,
Без лишних жестов и без слов
С крутого берега на льдину
Метнулся Митька Соколов.

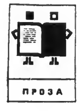
Он оттолкнулся и отчалил,
А шест согнулся, как лоза.
— Вертайся! — с берега кричали.—
На что сдалась тебе коза!!

А он не слышал и не слушал,
Пошел, пошел по льдинам вскачь.
Спас дядя Митя козью душу —
Причалил к берегу, ловкач!

Об этом долго говорили,
Ведь и коза молве нужна,
Потом рогатую забыли:
В июне грянула война...

Не стало Митьки Соколова.
Погиб под Вязьмою солдат.
Осталось в хате под соломой
Пять соколят, пять соколят...

А каково Матрене было:
На ней, одной, держался дом.
Когда река по сваям била,
Матрена плакала тайком...



Сергей
ЕСИН

ПРИ СВЕТЕ МАЛЕНЬКОГО ПРОЖЕКТОРА

РАССКАЗ

Рисунки
Р. ВОЛЬСКОГО.

Беспокойное время началось у Валентина Бурлея после армии, когда он не попал в институт.

Перед демобилизацией тетка — единственная его родня — писала ему в часть: «Приезжай, Валентин, в Москву. Чувствую я себя плохо, ноги совсем не ходят, скоро уже отдам богу душу, и будет мне перед смертью жалко, если пропадет московская квартира».

В строевой части сержант покрутил носом, сказал: «Всегда вас, интеллигентов, в Москву тянет, будто медом там намазано»,— но требование на билет и другие необходимые документы выписал. Так Бурлей очутился в Москве. Тетка обрадовалась, всплакнула, но и радость от встречи с племянником не подняла ее с постели. Только Бурлей успел прописаться и встать на учет в военкомате, как тетка умерла, оставив Валентина хозяином и ответственным съемщиком двенадцатиметровой комнаты в общей квартире на Кропоткинской улице возле бассейна «Москва».

После недельной беготни с похоронами и оформлением наследства решил Бурлей, что наработаться он еще успеет, пока надо попробовать попасть в институт. У демобилизованных после армии льгота, готовиться он особенно не станет, тем более, что до приемных экзаменов остались считанные дни, но школьные учебники внимательно еще раз просмотрит, почитает, и, может быть, все обойдется тип-топ. А поступать Бурлей решил в университет на филологический факультет — так вернее, поближе к его специальности, потому что до армии, сразу после детдома и десятилетки, закончил Бурлей школу книготоргового ученичества.

Бурлею университет на Моховой очень понравился, девушки и молодые ребята наполняли в эти дни здание, где шли приемные испытания, и он предвкушал, как будет слушать лекции в этих старинных аудиториях, где до него училось столько великих людей — и Белинский, и Лермонтов, и Герцен; ходить по старым чугунным ступенькам, обедать в дешевой столовой на первом этаже и вести беззабот-

ную и умную студенческую жизнь. Бурлей с интересом разглядывал прошлогодние расписания, оставшиеся от прежних семестров. Глядя на объявления спортсекций, он прикидывал, что обязательно займется парусным спортом и фехтованием, а еще либо боксом, либо тяжелой атлетикой. Станет сильным, с обветренным мужественным лицом и красивой мускулатурой. Ростом же, голубыми глазами, большим открытым лбом и вьющейся широкими кольцами белокурой шевелюрой его наградила природа.

В университете он полюбил стоять на балюстраде, под стеклянным куполом в аудиторном корпусе. Бурлей был старше большинства абитуриентов. Армейская выправка, еще не утраченная, придавала ему бывалость и некоторую картинность, которой любовались окружающие, и в первую очередь он сам. Сверху ему было видно два марша широкой парадной лестницы, по которой все время поднимался народ, книжный киоск с толпою возле него, наконец, многочисленные «кадрежки» и внезапные встречи и условленные свидания. Снизу, из вестибюля, доносился негромкий гул голосов. Это создавало ощущение общности, плотной и веселой среды. Покуривая возле балюстрады, Бурлей предполагал, что многие из абитуриентов принимают его за студента, уже заматеревшего в науке. Когда молоденький парнишка или девочка, вчерашняя десятиклассница, еще с косичками и бантиками, подходили к нему с вопросом, как пройти в приемную комиссию или какую-нибудь аудиторию, он важно, не роняя солидного достоинства, отвечал или неопределенно-ленивым взмахом руки отсылал спрашивающего «в том направлении».

На балюстраде Бурлей познакомился с Никитой Кнуровым и Маней.

Бурлей уже давно заметил эту пару — мальчика в застиранной голубой рубашке и с ним девочку в зеленых брюках и розовой обтягивающей кофточке. Они ходили вместе, разговаривали только друг с другом, вместе покуривали на лестнице, листали в сторонке общий учебник, сверяли шпаргалки. И как-то случайно встали на балюстраде рядом с ним. Искоса Бурлей заметил, как мальчик хлопнул по одному карману джинсиков, потом по другому, сунул руку в нагрудный карман, потом девочка так же безнадежно покопалась в сумочке, и уже после этого парень повернулся к Бурлею:

— Друг, нет ли закурить?

Поворачивая голову, чтобы ответить, Бурлей удивился свежести и веселому, несокрушимому здоровью девчонки. Она смотрела на него чистыми карими глазами уверенно и приветливо. Бурлей сразу подумал, что живет она, наверное, в спокойной крепкой семье, ездит ежегодно на юг, а зимой ходит в бассейн и на лыжные прогулки. Парнишка рядом с ней выглядел хлипковато и чуть заморенно.

— Ну, почему же не найти,— сказал Бурлей, выбивая резким движением из начатой пачки три сигареты: ребятам и себе.

Закурили.

Слово за слово — образовался общий разговор. Они все сдавали на один факультет, на русское отделение, и поговорили о ближайшем экзамене. Потом вместе вышли и, перебрасываясь разными, ничего не значащими фразами, пошли через солнечную улицу Герцена мимо консерватории. Бурлей, как старший, занимал их разговорами, рассказывал о службе в десантных частях. Ребята с интересом и восторгом слушали и принялись хохотать, когда дело дошло до кота.

...В первый раз прыгать с парашютом Бурлею, как и всему его взводу, было страшновато. Взвод молча расселся вдоль борта и тут в самолет вошел их долговязый инструктор лейтенант Саша Миронов. Как только задраили люк и завели мотор, Миронов вытряхнул из брезентового мешка, который он держал в руках, сытого и откормленного кота. Весь взвод грянул хохотом, потому что рыжий добродушный мерзавец был одет в самодельную парашютную сбрую, а на спине у него был прикреплен парашютный ранец. Дальше начались чудеса. Кот не заметался по самолету, а смирно, как и полагается высоконравственному коту, лег у кабины пилотов и, несмотря на рев моторов и крики мгновенно повеселевших десантников, лениво закрыл глаза. Но лишь только — уже в воздухе — раздалась первая предупредительная сирена, кот немедленно вскочил, подбежал к люку, и тут совершенно невозмутимо Саша Миронов вытянул из ранца на спине у кота легкий фал с карабином на конце и накинул его на перекладину вместе с фалами от парашютов десантников.

И как только Саша открыл люк, кот неожиданно бросился из самолета, видимо, торопясь скорее домой, к блюдцу с теплым молоком, сырому мясу и мышам, которых он для забавы и тренировки ловил в степи...

Никита и Маня очень смеялись, когда Бурлей рассказывал эту байку. Бурлею было хорошо с ними. Хотя по возрасту ребята были моложе его, Бурлей чувствовал себя их ровесником. Но эти ребята столько знали, хранили в памяти, так свободно оперировали названиями не читанных Бурлеем книг, цитировали поэтов, имена которых он не слышал или припоминал весьма смутно, что Бурлею становилось досадно. Он начинал думать, что в его невежестве виноваты не леность и инертность, не стремление к маленьким удовольствиям, которыми он до армии, в школе, живя в детском доме, не хотел пренебрегать ради учебы и чтения, а безродительская жизнь, недостаток средств и отсутствие подходящей среды.

Вечером после прогулки они зашли на Фрунзенскую набережную к Мане. Старая домработница покормила их на кухне, и после этого они поболтали, потанцевали. Бурлею понравилась Манина комната с большим ковром и разбросанными везде книгами и заграничными пластинками в ярких обложках. Поразила его и огромная иностранная радиола с автоматической сменой дисков и двумя колонками для стереофонического воспроизведения. Такой радиолы он еще не видел. Бурлей наслаждался музыкой, подкручивал ручки настройки и одновременно прислушивался к разговору Мани и Никиты. И опять он поразился, сколько знают эти вчерашние школьники, как свободно чувствуют себя в мире ясных и высоких мыслей прошлых веков и сегодняшнего дня. Но Бурлей погасил в себе досаду и подумал: «Вот поступлю в университет, тоже все буду знать». И тут же представил себе: вот он заканчивает университет, защищает кандидатскую — кандидаты все живут хорошо, не вкалывать же учителем за сто рублей в месяц,— начинает преподавать, пописывать в журналах, издавать научные книги, о чем эти книги, он, естественно, не представлял, потом покупает машину, дачу, будет у него жена красотка, и начнет он ездить за границу.

Уже совсем поздно ребята спустились во двор. Было тихо. Лениво плескался фонтан. Пахло душистым табаком. И опять в душе у Бурлея шевельнулась досада: вот бы ему жить когда-нибудь в таком дворе, где оборудованы волейбольные площадки, у каждого подъезда стоит по десятку притихших на ночь легковушек и пахнет свежей и прохладной летней зеленью.

С балкона Маня помахала мальчикам рукой: Никита пошел провожать Бурлея к остановке троллейбуса. Наверху, над домами, заслоненная светом уличных фонарей, гуляла крупная, неущербная луна. Они шагали молча, постукивая по тротуару сандалетами, Бурлей лениво думал о своем: немножко об экзаменах, немножко о Мане, немножко о парнях из своего полка, которым еще предстояло демобилизоваться. Бурлею казалось, что Никита думает сейчас о чем-то своем, но тот внезапно спросил:

— А тебе трудно было в армии?

— Ты что, Никита, боишься, не попадешь в университет?

— Армии я не страшусь,— ответил Никита,— это я только с виду хлипкий, а бывало зимой, когда ночью выпадает снег, мать меня будила часа в четыре, и до восьми, до школы, мы вдвоем успевали расчистить почти весь тротуар. У меня мать работает дворником в доме у Мани, а живу я в соседнем. Видишь, светится в полуподвале окно, это мать меня ждет.

— А я думал, ты боишься попасть в армию.

— Нет, просто хочется не терять зря времени. Ведь если сейчас не попаду в университет, буду поступать после службы. У меня это решено.

— А Маня попадет?

— Конечно. Она очень хорошо подготовлена,— порадовался вслух Никита.— Мать у нее переводчица, Маня знает и французский и английский, отец — академик-физик, а дядя — проректор пединститута.

— Ну, конечно, дядя или папа позвонят своим дружкам в университет, и ее сразу зачислят.

— Ну, чего ты болтаешь,— беззлобно, как бы подчеркивая, что такую глупость Бурлей мог сказать только по трепливой инерции, промолвил Никита.— На Маню ты произвел впечатление. Не заблудишься? — И, уже вталкивая Бурлея в троллейбус, крикнул: — До послезавтра, до сочинения.

На экзамене по сочинению — Бурлей писал «Распад дворянского общества в пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад»— повидаться и поговорить с Маней и Никитой не удалось. Утром, когда абитуриентов в окружении зорких аспирантов привели в аудиторию, все были слишком сосредоточены и поглощены предстоящей работой. Маня только издалека улыбнулась Бурлею, кивнула и помахала рукой. После экзамена Маня и Никита Бурлея не дождались. Он сдал сочинение одним из последних, когда экзаменаторы уже теряли бдительность и попивали чай с булочками, которые им принесли из буфета.

За время, пока Бурлей мучился над сочинением, он лишь раз вспомнил о Мане. Он едва успел написать черновик, а Маня уже шла к столу сдавать листы. Случайно подняв взгляд, он увидел, как она медленно, читая на ходу написанное, шла по проходу в немыслимо ярких брюках и в розовом вязаном жилете. Бурлей обратил внимание на ее затылок: тонкая шея, чуть поросшая золотым пушком, и копна рыжеватых волос.

Позже выяснилось, что она совсем не случайно так подчеркнуто медленно шла мимо. Сдав сочинение, Маня вернулась на свое место за сумкой. Потом Бурлей снова услышал за спиной независимый стук ее каблуков, а в следующий момент перед его лицом явилась ее рука с ярко выписанными ногтями, и мгновенно — еще не успела чаевничающая аспирантка произнести свое грозное: «Девушка!» — яркий длинный ноготь отчеркнул у него на странице два места. Снова проплыл мимо Бурлея рыжеватый затылок и вязаный жилет. Маня, независимо вколачивая в пол каблуки, прошла через аудиторию и, не обернувшись, закрыла за собою дверь.

На месте одного из следов, оставленных ногтем Мани на его черновике, Бурлей тут же поставил запятую, которой недоставало, а по поводу другого прочерка задумался. У него был написан сложный союз «от того, что». Может быть, вместе? Подходящего правила из грамматики Бурлей не вспомнил и стал проверять на слух. Нет, все, разумеется, пишется отдельно. Видимо, слишком быстро Маня прошла мимо и не успела вникнуть во фразу. Он оставит все как есть. Но Бурлею было приятно, что Маня, сдавая сочинение, которое решало ее судьбу, не забыла о нем. Ему стало спокойно на душе, он подумал, что Маня не зазнайка, не избалованный ребенок, а добрый и верный товарищ. Приятно бы, подумал Бурлей, походить с нею, обнявшись, вечером по парку, посидеть в кафе. И тут же у него мелькнула мысль: хорошо бы иметь такую красивую и молодую жену. Жениться бы на Мане, жить в ее квартире, ходить умываться в ванную, облицованную розовым кафелем, с наклеенными поверх него этикетками от иностранных винных бутылок, а поздно ночью, когда за спиной тихо играет заграничная стереорадиола, выходить, как хозяин, в одних трусах на балкон и вдыхать тихий аромат душистого садового табака от газонов и клумб, которые по утрам поливает мать Никиты.

Бурлей сдал свое сочинение с грамматической ошибкой. Но ошибка, видимо, была не единственной. Через день он пришел сдавать русский устный и литературу и, поднимаясь в аудиторию, встретил радостных, скачущих по ступенькам вниз Маню и Никиту. Маня кинулась к Бурлею:

— Здравствуй, Валюша! Ты почему не звонил?

— Ты не дала мне телефон.

По ступенькам все время шмыгали разные абитуриенты. В здании висел бодрый, как шум волны в бризовый день, не утихающий ни на мгновение рокот. Бурлей поздоровался с Никитой и спросил у него:

— А как у тебя дела?

— В норме.

И тут Бурлей снова повернулся к Мане, чувствуя, как сердце у него сжалось от волнения, и повторил, чуть меняя фразу:

— Ты мне не оставила телефон.

— Запиши сейчас же,— сказала Маня и, будто извиняясь перед Никитой, добавила: — А то замотаешься с экзаменом и забудешь, и я забуду.

Маня сама взяла из рук Бурлея учебник, на внутренней обложке написала номер своего телефона и побежала вниз по лестнице, крикнув на бегу:

— Посмотри свою оценку и сразу же в буфет, мы займем очередь и подождем тебя.

— Хорошо, занимайте,— ответил Бурлей и, перешагивая своими длинными ногами через ступеньки, полетел наверх.

В списках допущенных до следующих экзаменов его имени не значилось — следовательно, «пара»...

Бурлей был готов к этому, но внезапно покраснел: значит, он не имел права танцевать дома у Мани, весело разговаривать с нею, незаметно касаться ее руки на набережной. Ему стало стыдно своих мечтаний, надежд и поведения в последние три

дня. Бурлей еще немного постоял возле списка, дождался, когда кровь отхлынула от лица, и, повернувшись, быстро прошел по коридору и спустился на улицу.

Переступая порог — Москва стала душная, жаркая,— он подумал: «Ну, конечно, позвонит папа или дядя, так ей все ошибки подчистят, да заодно и ее хахалю».

Устронился Бурлей по своей старой специальности — товароведом в книжный магазин.

Работали в магазине, за исключением директора Ивана Зиновьевича, одни женщины, и Бурлей с ними сдружился. Он не отказывался поднести тяжелую пачку книг; когда приходил товар, вдвоем с директором становился на разгрузку, а если кому-нибудь из пожилых продавщиц дома требовалось передвинуть мебель или внести снизу холодильник, делал и это.

Поставили Бурлея на склад, где командовала материально ответственная Софья Борисовна. Сюда поступал весь товар, его оприходовали, а так как магазин был в районе головной — обслуживал и активы и конференции,— то с базы привозили д е ф и ц и т. С Софьей Борисовной, своей непосредственной начальницей, Бурлей поддерживал хорошие отношения: ей уже было за сорок, была она одинока, часто страдала от недомоганий и доверяла ему отчетность и ключи от склада.

После жизни в провинции столичные соблазны отвлекали Бурлея. Бурлею хотелось совместить свою беззаботную холостую жизнь с подготовкой к поступлению в университет, который должен был открыть для него счастливые горизонты. С осени попробовал было ходить на платные курсы французского языка в Скатертном переулке, но там требовали не только посещений, но и напряженной работы дома: готовить упражнения, учить слова. Бурлей походил на курсы и бросил, решив, что станет заниматься самостоятельно. Денег в первое время тоже не хватало.

Довольно часто, когда кто-нибудь из девчат в магазине хворал или уходил в отпуск, Бурлей становился к прилавку. Магазин был в центре, на бойком месте, среди постоянных покупателей было много актеров, писателей, архитекторов, юристов. Иногда Бурлей оставлял им редкие, дефицитные книги, иногда отдавал свои.

Если, скажем, в магазин приходило пять экземпляров Ремарка, то Иван Зиновьевич, считая, что выкидывать их на прилавок бессмысленно, в первую очередь распределял книги между своими работниками. Все покупали их для себя или для друзей. Девочки из секций иногда оставляли книги для постоянных покупателей. Бурлей делал так же. Он не спекулировал книгами и не снабжал ими перекупщиков, которые по субботним и воскресным дням толпились, сбывая товар, на углу Пушкинской улицы и проезда Художественного театра, но не отказывался, если его новые знакомые дарили ему билет на премьеру в театр, на концерт гастролера или на вечер в Дом кино.

С легкой руки своих покупателей Бурлей и заделался настоящим театралом.

Ему нравилась атмосфера театра, премьеры. Красивые, хорошо одетые люди, атмосфера избранности, которая всегда сопутствует премьерным спектаклям. Особенно Бурлей любил бывать на балете в Большом театре. Скоро он узнавал в лицо всех солистов и в антракте мог со знанием дела, покуривая, поговорить об з л е в а ц и и Васильева или а п л о м б е Бессмертновой. Мудреные слова — элевация, апломб — в переводе с языка профессионалов и балетоманов — вещи довольно простые: врожденная способность к прыжку и устойчивость, но терминология эта делала Бурлея своим в среде завсегдатаев, которые часто действительно до самозабвения любили искусство и с уважением относились к знанию предмета.

Бурлею было интересно видеть, как безутешный в горе Альбер в «Жизели» встречается в царстве теней с верной ему и там, за порогом жизни, Жизелью. Как много эти его вечно торопящиеся покупатели знают о любви и жизни! Каким секретом владеют? Музыку вдруг прорезала простенькая, скачущая мелодия из первого акта — трам-та-та-та,— и безжизненная, холодная вилиса Жизель вдруг на одно мгновение превращалась в прежнюю беззаботно влюбленную девушку. Будто и не было трагической измены ее возлюбленного. Лишь что-то ломалось в руках у Бессмертновой, лишь улыбка чуть набегала на ее трагическое лицо — и это прежняя Жизель! Вот она, сила любви! Только стремительнее, почти над полом, как вспышка, стало ж э т э у Лавровского — и где он, прежний безрассудный мальчик Альбер?

В театр и на концерты Бурлею было не очень ловко ходить в еще доармейском костюме или в свитере и джинсах, в которых он работал в магазине. Один знакомый паренек («Занимательный аквариум» пришлось выпросить у Софьи Борисовны из ее «заначки»), работающий в «Руслане», достал Бурлею недорогой, но хорошо сшитый финский костюм фирмы «Туро»; девочка из обувной секции ГУМа, любительница Евтушенко («Поющая дамба», «Вьетнамская тетрадь»), оставила английские ботинки фирмы «Лотос», молодая кандидатша-историк (монография Молчанова о де Голле) преподнесла ему заграничный итальянский галстук с платочком. А пальто, рубашку и шляпу Бурлей купил сам.

Соорудив себе нарядный костюм, Бурлей занялся квартирой. Какие стояли в мебельных магазинах гарнитуры! Финский «Россарио» со встроенным баром и пестрыми креслами. Польская «Уника» с удивительной полировкой и зеркальным шкафом. Арабский «Ренессанс» с резным письменным столом и инкрустированным креслом. Но сколько все оно стоило!.. Нет, Бурлею это было не по деньгам, и, подумав, он решил переконструировать бывшую теткину комнату самостийно. Создать эдакий богемно-недорогой интерьер.

Одну стену Бурлей затянул тонкой фольгой, употребляемой в кино для подсветки на натурной съемке, одолжил у знакомого оператора со студии Горького статьи Михаила Ромма. На другую в два ряда прикрепил соты из папье-маше, в которых транспортируют яйцо — сорок пластинок по 2 коп. за штуку,— а за эти соты пристроил елочные электрические лампочки. Вместо люстры у Бурлея висел большой шар, выложенный осколками зеркала — помог парень из театра эстрады; а над дверью, упираясь прицелом в шар — организовал тот же эстрадник,— был помещен маленький прожектор с моторчиком, меняющим цвет луча.

Получилось очень нешаблонно. Когда Бурлей включал вечером всю электроарматуру, то из-под яичных пластин вырывались обрывки разноцветного свечения, прожектор под дверью гнал на медленно вращающийся шар попеременно то зеленые, то красные, то голубые лучи, и все это отражалось и ложилось на стены, обтянутые фольгой. А когда играла радиола, то под ее тихую музыку при свете маленького прожектора можно было «уговорить» любую девчонку!

Во время посещения театра Бурлей уже не выделялся из нарядной толпы. Ладно сидевшая одежда делала его привлекательным. У Бурлея появились девушки из театральных поклонниц и короткие романы без особой любви и скорби при расставании. В театре, на концерте Бурлей вел себя уверенно, солидно, неторопливо, билетерши часто с ним здоровались, а при случае могли пропустить и без билета.

Забросив французский и подготовку в университет, Бурлей стал много читать о театре. Проштудировать «Мою жизнь в искусстве» Станиславского или «Режиссерские уроки...» Горчакова времени ему не хватало, но все имена из книг, замысловатую терминологию, казуальные случаи он постарался запомнить. Даже Петя Шумаков, известный критик из одной центральной газеты, с интересом для себя беседовал с Бурлеем и иногда выяснял у него коекакие факты.

Своим театральным знакомым Бурлей старался не говорить, кем и где он работает, а те были люди интеллигентные, вежливые, не расспрашивали, и как-то само собой получилось, что вроде бы они стали считать его за знатока: то ли за искусствоведа, то ли за критика, то ли за беззаветно любящего искусство физика. Он и вел себя соответственно репутации — чуть вызывающе, эдакий расслабленный, скучающий эстет. (Впрочем, тактичная публика была достаточно хваткой: большинство прекрасно знало, кто такой Бурлей, но, если мальчик играет в такую игру, отчего не поддержать?) Покуривая в вестибюле Большого (если он даже сидел на четвертом ярусе, то курить Бурлей спускался вниз, в вестибюль, где на променаде переговаривались иностранцы из партера), Бурлей мог сказать: «У Нины сегодня ватные ноги» (это о Тимофеевой) или: «После очередного ремонта Володя танцует еще лучше» (о Васильеве, после перерыва станцевавшем Спартака). В Театре эстрады, привстав из рядов, мог крикнуть Дину Риду по-английски: «I want you to know!» [1].

Однажды Бурлей познакомился с Николаем Прокопенко. Это было летом. Магазин выгонял план, и Иван Зиновьевич попросил Бурлея поработать с лотка. Бурлей уже делал эту работу. На тележке ему подвозили на Колхозную, к метро, несколько стопок книг, ставили стол, и Бурлей зычно начинал выкликать: «Новые приключения майора Вихря», «Тысячи рецептов приготовления домашних блюд». Или что-нибудь подобное. Иногда книги, хотя это и не разрешалось, продавались с нагрузкой.

В этот раз в качестве нагрузки шли сорок затоварившихся томов Сумарокова и «Справочник практического врача». Но основным товаром была почти сенсация.

Бурлей разложил книги, спрятал пачки с дефицитом под прилавок и начал:

— Рассказы о Пеле и Гарринче, звездах бразильского футбола! Личные знакомства автора. Новая книга известного советского журналиста Николая Прокопенко!

Народ повалил. Бурлей уже по опыту знал: главное, чтобы вокруг прилавка сгрудилась толпа. Скопище народа будет притягивать других покупателей, как магнитом.

— Рассказы о бразильской сборной, трижды чемпионе мира!..

На этот раз Бурлей с полным основанием рекламировал свой товар. Книжку Николая Прокопенко он прочел, хотя прохладно относился к футболу. Книжка оказалась занимательной, с массой «изюминок» и живых подробностей. По книгам и статьям Бурлею было знакомо и имя Прокопенко. Несколько лет он следил за ним по передачам радио, по статьям о бразильском футболе. Николай Прокопенко, как знал Бурлей, был корреспондентом и приобрел популярность: а) когда он рассказывал о бразильской музыке или футболе — это было всегда интересно; б) он часто помещал свои репортажи в журналах, хорошо известных среди молодежи; в) Прокопенко регулярно печатался в спортивной прессе. И у него вышло три книги. Все, кстати, дефицит.

Народ стеной навалился на прилавок. Бурлей даже немножко испугался, когда разгоряченная толпа начала теснить его к стене. Особенно активны были пожилые женщины. «Им-то к чему? — думал Бурлей.— Для внуков берут или сами болеют?» Но по вопросам Бурлей скоро понял: в футболе эти пожилые женщины разбираются. Товар шел ходко. Совершенно неожиданно Бурлей быстро сплавил «нагрузку», а с книжкой о футболе надо только было поспевать сдавать сдачу. Бурлей уже не зазывал покупателей, а только отбивался, и вдруг ему пришлось прекратить всю торговлю. Следующий покупатель, выстоявший очередь, чуть потянувшись над прилавком к Бурлею, негромко сказал:

— Я бы купил у вас все оставшиеся экземпляры. Я Николай Прокопенко.

Через мгновение Бурлей уже пришел в себя от парализующего изумления. И тут же закричал:

— Все, товарищи, книги распроданы, ничего больше нет.

Народ расходился. Бурлей заговорщицки подмигнул Прокопенко.

Когда возле лотка никого не осталось, Бурлей с Николаем погрузили три оставшиеся стопы с книгами в такси, и Прокопенко сказал:

— А теперь по поводу оптовой покупки спрыснем у меня дома.

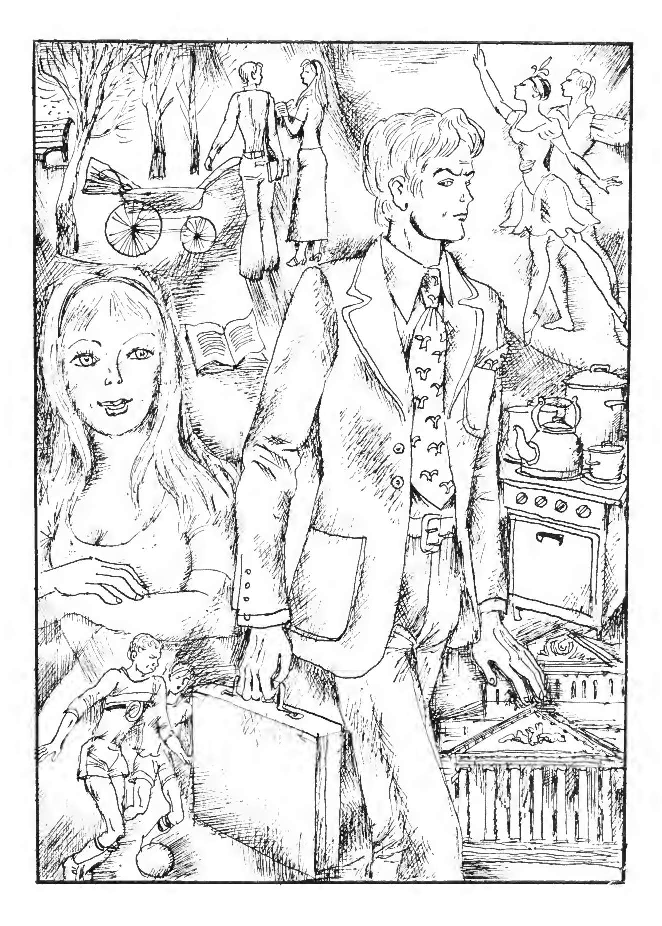
Жил Прокопенко на проспекте Вернадского. Все домашние Николая были в отъезде, и Бурлей мог без помех обойти небольшую двухкомнатную квартиру, на каждой стене которой висело по фотографии Пеле или Жаирзиньо. В прихожей Бурлея поразил высушенный крокодил.

Прокопенко оказался парнем не гордым, отзывчивым. Поговорил он с Бурлеем по душам, подпаивая его сладким югославским вермутом, рассказал различные байки из своей заграничной жизни, и про футболистов, и про положение трудящихся, не чинился — свой!

Уже потом, после этого недолгого свидания, Бурлей начал считать Прокопенко своим личным другом. Позванивал ему по телефону, когда в магазин поступали дефицитные книги, привозил на дом или на работу, если Прокопенко был занят. Когда Прокопенко заезжал за книгами на такси к Бурлею в магазин, они при каждой встрече немножко болтали, Прокопенко рассказывал какую-нибудь интересную историю, но, несмотря на эти очень дружеские разговоры, Бурлей неизменно отказывался принять от Прокопенко любую безделицу: застежку на галстук или фигурную авторучку, противился, если, покупая книги, Прокопенко пытался ему переплатить какую-нибудь мелочь: «Нет, нет, Николай Сергеевич, денежки любят счет. Вы мне друг, и ничего я вам за плату делать не буду».

---

[1] Название песни Д. Рида «Я хочу, чтобы ты знала» (англ.)



В день знакомства Бурлей услышал от Прокопенко такую историю. Они попивали холодный вермут, по телевизору команда ЦСКА играла с «Торпедо», и среди прочего Бурлей сказал:

— Очень мне нравится ваша, Николай Сергеевич, квартира. Как музей! Отделано чисто, на обоях ни морщины, двери хорошо пригнаны...

И тут Прокопенко рассмеялся:

— Я, Валентин,— сказал Прокопенко,— как только вернулся из Бразилии, сразу же купил эти кооперативные хоромы. Но была квартира в таком состоянии, что въезжать не было никакой возможности.

— И как же? — глупо спросил Бурлей.

— Достал для жены и дочки путевку на юг, а сам занялся ремонтом,— продолжал Прокопенко.— А ведь лето, все ремонтируются. Захожу в районную контору по ремонту, сидит плотная приемщица, пышущая молодым жаром, и сразу меня огорошивает: «Отремонтировать можем, но у нас очередь»... «А когда,— спрашиваю,— может подойти очередь?» Приемщица отвечает: «Месяца через три». Я говорю: «Есть здесь у вас кто-нибудь старший?» — «Начальник конторы,— отвечает приемщица,— вторая дверь по коридору налево». Захожу. Встречает меня молодой человек, в белой сетчатой рубашке, загорелый. Объясняю: «Я корреспондент Всесоюзного телевидения и радио, пять лет был в Бразилии, сейчас вернулся, и мне надо срочно отремонтировать квартиру». Начальник мне говорит: «У нас существует очередь.— А потом вдруг помолчал и спрашивает: — А как ваша фамилия?» Я отвечаю: «Николай Прокопенко». Тут начальник очень так вкрадчиво говорит: «Скажите, а не вы ли пишете в газетах о футболе?» Оказалось, что начальник — страстный любитель и болельщик, сам когда-то играл за один из московских дублей. Я ему тут же подарил с автографом обе моих книжки, и через две недели квартира сверкала, как игрушка. Вот что такое футбол — любимая народом игра,— завершил с мягкой улыбкой король бразильских радиорепортажей.

После знакомства с Прокопенко Бурлей снова затосковал и еще раз понял, что не надо останавливаться на достигнутом — ведь и Прокопенко закончил МГУ,— необходимо учиться. Выходя из дома на проспекте Вернадского, он снова — в который уже раз! — решил начать новую жизнь: бросить курить, читать только полезные и нужные книги, заниматься французским и по утрам делать гимнастику.

Это его намерение, правда, оказалось нестойким. Через несколько дней он достал себе программы вуза, самоучитель французского, купил в магазине «Дружба» комплект пластинок для изучающих язык и каждый вечер для приобретения грамотности и стиля решил переписывать по странице из «Севастопольских рассказов» Льва Толстого, но дальше благих намерений не пошел.

Дружба с Прокопенко придала Бурлею вес в собственных глазах. Он стал размашистей в жестах, говорил безапелляционно, свои суждения, хотя и не новые, произносил твердо и решительно, как взвешенное и продуманное мнение. Среди друзей он прослыл человеком дела, который на ветер слов не бросает.

Особенно всех его знакомых потрясла история с телефоном для молоденькой солистки балета Маргоши Баталич из музыкального театра.

Во время антракта, вместе с другими поклонниками Маргоши, Бурлей стоял перед буфетом за кулисами. Разговор был оживленный и животрепещущий: как Маргоше поставить на квартиру телефон. Один кандидат наук говорил, что попытается походатайствовать через брата, который работает референтом в райсовете, у другого молодого человека был знакомый монтер на телефонном узле, но все уповали на старого Маргошиного друга — будущего космонавта. Будущий космонавт потел, крутил шеей в тесном форменном воротничке, но признаться в том, что дело с телефоном безнадежное, не решался, и тут, внезапно для себя и даже как бы помимо своей воли, Бурлей выпалил:

— Я сделаю для Маргоши телефон.

Это было какое-то озарение.

На следующий день Бурлей, попросив разрешения прийти на работу попозже, с утра отправился на телефонную станцию. Оделся он по-парадному: костюм из «Руслана», ботинки из обувной секции ГУМа, итальянский галстук, в одной руке японский зонт тростью, а в другой — кожаный портфель с рабочей формой: джинсами и свитером.

Он пришел прямо к начальнику узла.

— Здравствуйте,— сказал Бурлей.— Я корреспондент советского телевидения и радио в Бразилии Николай Прокопенко. Я только что вернулся из-за рубежа, у меня просьба. У вас в районе живет моя мать, а также сестра — солистка балета. Они живут в одной квартире. Мать человек престарелый, и мне будет спокойнее, если у матери будет телефон. Сестра поздно приходит, часто ездит на гастроли, и я волнуюсь за мать.

— Мне очень нравятся ваши статьи о футболе,— вдруг расплылся начальник узла.

— Это заслуга не моя, а любимой народом игры,— сурово оборвал его Бурлей.— А так как я вижу,— продолжал он,— что вы любите футбол, то позвольте, я подарю вам свою последнюю книжку.

Бурлей вынул из портфеля брошюру Прокопенко и быстро надписал, поставив под посвящением размашистую подпись. После этого он угостил начальника «Кэмелом», пачку которого ему подарил архитектор Гальперин, и дело было сделано.

После визита на телефонный узел Бурлей пошел на работу пешком. Стояла ясная весна. Весело бежали застоявшиеся за зиму автобусы. Прохожие шагали, расстегнув плащи и сняв шапки.

Бурлей добрался до конца улицы, обошел бассейн «Москва» с парящим над ним, как над тарелкой супа, белым облаком, повернул на Гоголевский бульвар и тут вдруг увидел Маню и Никиту.

Какое счастье, что они его не заметили!

Сидели на скамейке и оба что-то читали. Маня морщила лоб и недовольно поправляла все время передергиваемую ветром страницу, а между ними — между Маней и Никитой — стояла синяя детская коляска на высоких велосипедных колесах. Значит, все у них получилось, поженились! И внезапно у Бурлея поднялась необузданная досада на Никиту, на то, что этот, как цыпленок, мальчишка, занял его, Бурлея, место возле Мани, живет в ее квартире, читает, наслаждаясь, книги, которые мог бы читать Бурлей. Все же вытянула его Маня! А Никита скорее поторопился сделать ей сына, чтобы покрепче привязать. И вот сидит себе сейчас, гаденыш, в голубеньких американских джинсиках — взгляд у Бурлея по-снайперски точный,— покуривает, читает книжку и еще ногой, поставленной на ось коляски, качает своего сына! Цепкий оказался дворничихин сын!

И тут же Бурлею стало стыдно своих мыслей. Стало стыдно элегантного финского костюма, новых ботинок, японского зонта, вида преуспевающего молодого ученого, талантливого артиста или бывалого корреспондента. Ему казалось, что стоит лишь

подойти к ребятам и поздороваться, как они все о нем узнают. Он не сможет им солгать, весь его вид и он сам будет для них жалок и нелеп.

Значит, два года, пока они учились и по-настоящему, а не для вида, строили свою жизнь, он занимался показухой и растил ее в своей душе! Сейчас ему двадцать пять... Сколько же осталось выглядеть молодым и подающим надежды?..

Бурлей резко свернул в сторону и по ясному, залитому солнцем бульвару почти на цыпочках прошел за скамейкой, за спиной Мани и Никиты.

Неожиданная встреча расшевелила в Бурлее прежние мечты. С особой остротой он задумался над тем, что ему необходимо что-либо предпринять, подвести фундамент под свою жизнь, начать наконец строить будущее, которое должно стать обеспеченным и солидным. Не то чтобы он сразу и определенно решил, что должен «хорошо» жениться — эту мысль отчетливо и не формулировал, но она возникла где-то в тайниках подсознания, и все свое дальнейшее поведение Бурлей подчинил намеченной цели.

По-прежнему на работе он был милым и отзывчивым парнем, но появилась в нем какая-то настороженность в общении с молоденькими, хорошо одетыми покупательницами и солидными людьми. Бурлей целенаправленнее и точнее заводил нужные связи, отсекал лишнее. Он предполагал или самостоятельно познакомиться с подходящей девушкой, или выйти на возможную кандидатку с помощью новых друзей. По своей собранности он напоминал легавого пса, готового ежесекундно сделать стойку. Бурлей начал и на работе подчеркнуто элегантно и опрятно одеваться. Это-то и позволило прозорливым девушкам во главе с Софьей Борисовной сделать свой вывод: «Влюбился и собирается жениться».

Внешне его образ жизни мало изменился. Почти каждый вечер он доставал билеты в театр или на концерт, но теперь уже во время антрактов редко подходил к старым знакомым, а, раскланявшись, одинокий и собранный, неторопливо гулял по фойе: ждал случая. Он твердо усвоил простую истину: на ловца и зверь бежит.

С Ирой он познакомился в Театре эстрады на концерте Адамо.

Подходя к зданию театра на набережной и ощупывая в кармане бумажник с трудно добытым билетом, по нарядной толпе и шеренге автомобилей с дипломатическими номерами он понял, что концерт будет избранный, с «шикарной» публикой, в которой, может быть, встретится его избранница. В конце концов, думал Бурлей, родителям, которым бронируют билеты в кассах, некогда самим ходить на концерты даже самых знаменитых шансонье. Предчувствие с о б ы т и я охватило Бурлея. Сегодня, подумал он, должно что-то произойти! Он отогнал от себя эту мысль. Но она уже дала ему импульс. Сердце забилось сильнее. Сдерживаемое напряжение вдруг придало ему еще большую уверенность. Бурлей ощутил себя своим в этом пахнущем духами и довольством потоке людей. Он не самозванец, он такой же значительный, фантазировал он, несуетливый в походке, оригинальный в суждениях, его так же, как и многих из присутствующих, ждет собственный автомобиль.

В ярко освещенном вестибюле, не снимая с руки тонкой перчатки («Анжелика» Анн и Серж Голон, «Анжелика в Новом Свете» и «Современный английский детектив»), Бурлей неторопливым движением вынул из бокового кармана таллинский кожаный бумажник, достал билет в партер. (Хоть и дорого, но повезло. Сегодня заходил в магазин его старый знакомый, музыкальный критик звукового журнала Ростислав Рудаков, просил оставить ему, когда выйдут, «Вокальные параллели» Лаури-Вольпи и заодно предложил билет на Адамо: певца Ростислав слышал в Париже, уже взял у него интервью здесь, в Москве, а на концерт он сам сегодня пойти не сможет, потому что в консерватории поет Милашкина.)

Сегодня, как никогда, знакомый зал с полукруглой сценой, задернутой серебристо-серым бархатом, кажется Бурлею милым и величественным. Над изогнутыми, как луки, рядами кресел висит сладкий и негромкий рокот. Пахнет слабым ароматом цветов, украдкой пронесенных поклонницами мимо капельдинеров.

Бурлей спокойно и торжественно, наслаждаясь собственной выдержкой и послушностью тела, шествует по центральному проходу до своего места во втором ряду, сверяет номер кресла с номером билета, откидывает сиденье и медленно — не плюхается! — опускается в кресло.

Занавес призывно колеблется.

Так же неторопливо, со знакомым ощущением опытной уверенности Бурлей расстегивает среднюю пуговицу на пиджаке, одним молниеносным движением, виденным ранее у Бельмондо в фестивальном фильме, расправляет фалды, чтобы не мять пиджак, и лишь потом — с левой стороны от него центральный проход — медленно поворачивает свою хорошо подстриженную, с «гривкой», красивую голову.

Соседка Бурлея разочаровала. Молоденькая бесцветная девушка лет семнадцати в простеньком, чуть ли не школьном платье и почти совсем без прически — подстриженные волосы аккуратно зачесаны за уши. Почувствовав на себе чужой взгляд, девушка покраснела, отвернулась, но Бурлей успел разглядеть заурядное лицо с большим лбом и серыми испуганными глазами. Бурлей сразу же отвернулся и забыл о соседке.

Почти не поворачивая головы, наигранно-равнодушным взглядом Бурлей стал рассматривать публику — добротные, хорошо пригнанные пиджаки на мужчинах, прически женщин. Посмотрел, как сидящий перед ним у самой сцены звукорежиссер возится с микшерами выносного пульта — вот это работа! Сиди себе вечером в парадном зале, покручивай ручки, прибавляя и убавляя громкость. Потом перевел взгляд на занавес. В этот момент раздались аплодисменты, под громкие звуки небольшого оркестра занавес раздвинулся, и выбежал Адамо — невысокого роста черноволосый парнишка в темных расклешенных брюках, длинной безрукавке, надетой на малиновую рубашку.

Адамо пел хуже и менее интересно, чем Бурлей привык слышать его с пластинок, но зал восторгался, и Бурлей, поддавшись общему настроению, тоже хлопал в ладоши, притопывал ногами и подпевал. Правда, и тут Бурлей не терял своей линии поведения, не выходил за рамки, потому что музыка и пение его лишь развлекали, но не захватывали целиком.

В антракте Бурлей, свободно и непринужденно двигаясь — руки за спину, в боковом наружном кармане платочек, на лице скучающее выражение,— походил по фойе, покурил, потом изложил случайно встреченному приятелю точку зрения Ростислава Рудакова на репертуар Адамо, посетовав, что у певца пропал «внутренний посыл и вместо страсти и пафоса он все чаще дает имитацию». После третьего звонка

все уже на местах, занавес подрагивает, готовый распахнуться,— уверенно, как завсегдатай, Бурлей прошествовал по центральному проходу и на виду зала и, конечно, своих знакомых сел на лучшее, предназначавшееся Ростиславу Рудакову место.

Волнующее чувство ожидания уже ушло. Но терять присутствие духа?! Что же, это случится в следующий раз! Бурлей ведет себя, как обычно: наслаждается музыкой, следит за работой звукорежиссера и «подает» публике себя.

Во втором отделении Адамо «распелся». Его ребята на сцене, заставленной аппаратурой и перевитой соединительными кабелями, постепенно входят в эстрадный транс, зал неистовствует. После каждой песни с балкона дождем сыплются красные гвоздики в целлофановой обертке. Адамо старательно складывает трофеи небольшой поленницей у стойки микрофона. Он уже спел «Вы позволите, мсье», «Ветреница моя, свобода», «Небоскребы» — популярные, известные и любимые мелодии, и тут, после «Клоуна», как всегда на таких представлениях, наступает секунда торжества Бурлея. После «Голубого города», когда сверху опять начинает сыпаться дождь из гвоздик, кто-то легонько касается сзади плеча Валентина, он оборачивается: сосед просит его передать на сцену цветы. Бурлей принимает три алые оранжерейные розы. Расторопные осветители уже наставили на него прожектор, в ослепительном его свете Бурлей встает, делает несколько шагов к сцене, аффектированно снимает с цветов шуршащий целлофан, протягивает их певцу. Адамо наклоняется к Бурлею, жмет руку, и Бурлей без нажима, но с той степенью громкости, чтобы через микрофон было слышно в зале, говорит по-французски фразу, составленную еще днем Ростиславом Рудаковым: «En bleu jeans» s'il vous plaît»[1].

В зале начинается настоящий рев. Будто все только и ждали этой подсказки. С балкона раздается: «В синих джинсах и кожаной куртке»!.. «В синих джинсах и кожаной куртке»! Бурлей, сохраняя на лице ленивую улыбку знатока, садится в кресло, мельком отмечая восхищенный взгляд соседки. Но она его не интересует.

Со своей соседкой Бурлей встречается у вешалки, в вестибюле. Надевая пальто, он вдруг видит в зеркале ее быстрый, заинтересованный взгляд. Бурлей поворачивается. Девушка стоит напротив, прижимая к груди шубу, сумку, бинокль, программку и сапожки. Все лавочки вокруг заняты. И вдруг Бурлей, по своей тщеславной привычке, решает очаровать скромную незнакомку. Пусть у девушки будет праздник, у Золушки — на один вечер прекрасный принц!

Встретившись взглядом с Бурлеем, девушка смущается и краснеет. Но Бурлей уже мягко и обволакивающе пристально глядит ей в глаза, в центр больших испуганных зрачков и, не дав опомниться, протестовать, подавив ее волю, мягко, не терпящим возражения жестом — это так надо, это положено, этого вы хотели — принимает у нее из рук бинокль, сумочку, берет шубу.

— Надевайте сапоги, я подержу,— говорит Бурлей.

«Молнию» на сапоге заело, девушка торопливо дергает ее. Волосы упали ей на лицо, узкая спина напряжена. Так и не застегнув «молнию», она поднимает пунцовое лицо и тихо говорит:

— Не ждите меня, я справлюсь сама.

Бурлей продолжает играть в прекрасного, по-королевски воспитанного принца:

— Не торопитесь, и «молния» сразу застегнется. Как вас зовут?

— Ирина,— говорит девушка, не поднимая головы.

— Валентин Бурлей. Вот мы и познакомились. И теперь как своей знакомой я просто обязан помочь вам одеться и выбраться из этой сутолоки.

— Спасибо,— почти беззвучно говорит Ирина. Она наконец справляется с застежкой и стоит перед Бурлеем с пылающим лицом.

Принц старается сделать все, чтобы освободить девушку от смущения. Обычным, с ленцою тоном, будто бы они знакомы не один год и Ирину вот так, как сегодня, одевает он уже не единожды, Бурлей говорит:

— Какая у вас прекрасная шуба.

Стоя к Бурлею спиной, Ирина просто, без тени хвастовства отвечает:

— Мама уехала на гастроли в Рим, а папа сказал, что один раз на концерт я могу надеть ее шубу, пофорсить...

Чем привлекла Бурлея эта маленькая девочка, глядящая на него робким, влюбленным взглядом? Только уж не маминой шубой. Мысль о том, что Ирина может стать «мотором», может вывести его к другой жизни, эта мысль лишь промелькнула, Бурлей не фиксировал на ней внимание, он просто принял ее к сведению. Ира нравилась — не то слово,— Бурлею было свободно с нею, потому что она слушала его байки и рассказы, терпела умничание, и рядом с нею Бурлей ощущал себя по-настоящему взрослым, бывалым и даже верил своим словам.

В первый вечер, когда Бурлей провожал Иру до дома, они говорили об Адамо. К его удивлению, Ира хорошо знала певца. По обмолвкам Бурлей понял, что у нее много пластинок с его записями, которые привозили из-за границы родственники и друзья матери. Она знала репертуар и Боба Дилана, и Барбары Стрейзанд, и Мирей Матье. Но какие-то факты из жизни певцов, биографии их песен были ей неизвестны. И тут Бурлею очень пригодились знания Ростислава Рудакова. Пока они шли пешком до ее дома на Ленинском проспекте, Бурлей пересказал Ире своими словами интервью Рудакова. О том, что в семье Адамо семеро братьев и сестер и что перед тем, как напеть новую пластинку, тот приезжает в деревню на юге Италии и поет для семьи, и певцу очень важно знать мнение его тетки. Адамо хотел стать филологом, учился в университете на филфаке, а потом случайно выступил со студенческой группой...

Он рассказывал об этом просто, как о само собой разумеющемся, всем известном, ссылался на достоверность собственной информации: «Как мне рассказывал Николай Прокопенко» или «Мой приятель Ростислав Рудаков рассказывал мне, что в Париже он встречался прошлой осенью с Жюльетт Греко и Адамо».

Бурлей простился с Ирой возле ее дома. Дом был огромный, с лоджиями, и возвышался среди других, как крепость. За заснеженным окном вестибюля видны были цветы, стоящие в кадках, небольшой газончик на очень широком подоконнике и стеклянная будка с вахтершей.

— Вон там, на четырнадцатом этаже, я и живу,— сказала Ира, снимая варежку.

— По веревочной лестнице к вам добраться трудно,— пошутил Бурлей.

— А зачем по лестнице, можно на лифте.

---

[1] «В синих джинсах», пожалуйста» («В синих джинсах» — название песни С. Адамо).

— Разве этот цербер,— кивнул Бурлей на вахтершу,— пропустит нашего брата?

— Тетя Паша — человек добрый. А если не хотите, Валя, встречаться с нею, то сначала мне звоните. Хорошо?

...За весну и лето они много раз ходили есть мороженое в кафе «Космос» на улице Горького. Ира рассказала Бурлею, что после школы стала работать помощником провизора в аптеке и что она, как сказал ее папа, к науке не очень приспособлена. А может быть, ей и не нужно дальше учиться, ведь должен же кто-то работать помощником провизора, и, если она все же решит учиться, то пойдет в фармацевтический техникум. А Бурлей рассказал Ире о себе. Почти всю правду. Потому что за его словами все же ощутимо стояла некоторая ложная значительность неудачника, который по своим знаниям и духовным качествам как бы достоин лучшей доли.

Бурлею было хорошо с Ириной. Его слова она воспринимала как истину, и, когда он говорил, влюбленно и почтительно глядела на него. С Ирой Бурлей мог позволить себе расслабиться и всласть пофантазировать. Как он закончит университет, наверное, все же не филфак, а, как и его друг Николай Прокопенко, факультет журналистики. Потом поедет за границу куда-нибудь в Колумбию или Никарагуа. (В своих мечтаниях он уже видел себя вместе с Ирой спускающимися с трапа самолета в международном аэропорту. Он одет просто и, элегантно, с небольшим плоским чемоданчиком в руке, Ира в белом шерстяном костюме, хорошо сшитом и строгом, почти в таком же, в каком — он видел раз в иностранном журнале — была королева Елизавета Английская на приеме в Елисейском дворце. Оба они, и Бурлей и Ира, молодые, гибкие, преуспевающие, счастливые. Ну, просто молодая пара с рекламного проспекта.) И разговаривая с Ирой, Бурлей твердо был уверен — так оно и будет.

Однажды Бурлей пригласил Иру к себе домой. Он знал, что в ее глазах он был выше коммунальной квартиры и грязного подъезда с дергающимся старым лифтом. Он даже рассудил, что по контрасту с окружающим его бытом он выигрывает, приобретает в ее глазах черты некоего страдальца, несправедливо обиженного судьбой и обстоятельствами.

Неожиданно Ире, привыкшей к солидному комфорту и размеренности в семье, комната Бурлея понравилась. В развешанных по стенам фотографиях певцов и балетных звезд, часто с их личными автографами, в продуманном беспорядке и искусном освещении она увидела черты какой-то изысканной исключительности. Ее привел в восхищение маленький театральный прожектор, установленный над дверью.

Бурлей поил Иру крепким кофе и угощал пресными крекерами. В переливчатом свете лицо Бурлея казалось Ире красивым и мужественным. На радиоле стояла ее любимая пластинка с песней Адамо «Я забыл о розовом цвете роз».

Тихонько, почти про себя подпевая певцу, Ира изредка отпивала глоточек кофе. Она была счастлива: от спокойствия, которое было разлито в этой комнате, лежавшей в глубине коммунальной квартиры, от любимой песни, от присутствия Бурлея.

Потом они начали танцевать. Адамо пел о маленьком кафе, в котором встречаются влюбленные перед разлукой. Ира в руках Бурлея была податливой и нежной. Она танцевала, наклонив голову. Изредка бросая взгляд на блестящую, туго натянутую по стенам фольгу, Бурлей каждый раз замечал, какой у Иры тонкий и нежный затылок. Он о чем-то спрашивал ее, и она, по-прежнему склонив голову, отвечала. А потом подняла на него глаза и, осмелившись, посмотрела долгим покорным взглядом. И тут Бурлею ее лицо с высоким белым лбом, почти уродливо обнаженным высокой прической, почудилось прекрасным, таким необыкновенно близким и родным, что, не отдавая отчета в своем поступке, Бурлей вдруг нагнулся и, зажмурившись, ее поцеловал.

Ира не вырвалась у него из рук, не отстранилась, но Бурлею показалось, что он ее обидел и уронил себя в ее глазах. Он стал досадовать, что не смог доиграть роли холодного обольстителя, и в дальнейшем решил вести себя с подчеркнутой корректностью. Когда пластинка закончилась, он наклонил вежливо голову, поблагодарил даму и, подведя Иру к креслу, предупредительно его отодвинул. Ира села, расправила на худых коленях складки и опять долго и пристально посмотрела Бурлею в лицо.

Прожектор в углу комнаты продолжал медленно вращаться. Разноцветные лучи падали на стены, на подвешенный вместо люстры шар, составленный из осколков зеркала, и, отражаясь от него, подсвечивали лицо Иры розовыми и фиолетовыми отблесками.

Ира заговорила первой. Голос ее не был взволнованным, не прерывался. Она сказала твердо, как о решенном:

— Значит, теперь, Валентин, мы поженимся?

...На следующий день, когда Бурлей встретился с Ирой на Чистых прудах, она сразу же объявила, что ее отец хочет видеть Бурлея и, хотя мама еще на гастролях и приедет только через неделю, лучше бы повидать отца сегодня, потому что завтра у него секретариат, послезавтра он встречается с иностранной делегацией и приедет домой поздно, а вообще папа на него, на Бурлея, только взглянет, мама, конечно, будет заранее согласна, а в принципе папа сказал, что он тоже согласен и пусть решает сама Ира, а она уже решила.

Бурлей испугался предстоящего свидания, да и одет он был по-рабочему — в джинсы и голубую финскую водолазку с красной каемочкой по вороту,— но потом решил: будь что будет.

Уже сам двор Ириного дома на Ленинском проспекте, как и прошлый раз, зимою, поражал солидной ухоженностью, чистотой, старательно увлажненной зеленью вокруг. Со стороны улицы, припаркованные одна к одной, жались легковые машины. Кипел Ленинский проспект, а во дворе было тихо, чисто, асфальт свеже полит, а с широких газонов пахло цветами. Такая же добротная тишина царила в просторном подъезде. Пригнанные двери не хлопали, даже лифт двигался бесшумно, не быстро, не медленно, а будто возносился.

Видимо, заметив некоторую растерянность спутника, Ира сказала:

— Мы переезжали в этот дом, когда я была совсем маленькой. Вокруг ничего не было, метро не начинали строить, а сюда с Киевского вокзала ходил автобус. Папа рассказывал, что от остановки надо было шлепать по грязи минут десять.

— Москва строится быстро,— ничего не значаще ответил Бурлей.

В квартире у Иры было так тихо, будто дома никого не было. Ира зажгла свет в прихожей. Слева на стене висела огромная карта Советского Союза, а у дверей на круглой дешевой вешалке — знакомое голубое пальтецо Иры и форменный военный плащ с генеральскими погонами. Ира сразу кивнула на плащ: папин.

Для Бурлея это было неожиданностью. Ира всегда говорила, что ее отец преподаватель, свя-

зан с техникой, в подробностей Бурлей не выяснял, считая это неделикатным. И сейчас он заробел, предполагая увидеть перед собою проницательного, быстрого на оценки и решения человека, который тут же его «расколет» и выведет на чистую воду. Ему захотелось юркнуть в еще не закрытую дверь, оставив за порогом и Иру и свои надежды. Но делать было нечего. Привычным движением Ира прихлопнула ногой дверь, взяла Бурлея за руку и повела по коридору, устланному ковровой дорожкой.

Отец Иры — Михаил Романович — оказался совсем не таким, каким предполагал увидеть его Бурлей.

Когда Ира отворила дверь в комнату отца, Бурлей от страха захолодел. На письменном столе, стоявшем возле открытой балконной двери, ярко горела настольная лампа, и два ее рожка бросали круг света на беспорядочно раскиданные бумаги и седую голову мужчины.

— Это Валя Бурлей, папа,— не здороваясь, сказала Ира.

Был Михаил Романович на удивление щуплым, невысоким, торопливым, похожим на маленького петушка. Сходство с птицей придавала узкая, выступающая как-то углом, под простенькой рубашкой в полосочку, мальчишеская грудь.

На кого же он похож, подумал Бурлей и тут же ответил: на Суворова, каким полководца описывали популярные ЖЗЛовские книжки.

Испуг у Бурлея исчез. Генерал оказался застенчивым и мягким человеком. Он отчего-то засмущался, засуетился, усаживая в кресло Бурлея, долго тряс ему руку. Казалось, что именно он, генерал, а не Бурлей пришел знакомиться с родителями своей невесты и сейчас не знает, куда деть руки, что сказать, как произвести хорошее впечатление.

Разговор получился сумбурным, отрывистым и неопределенным. Чувствовалось, что генерал, понимая важность момента и необходимость задать Бурлею какие-то испытующие вопросы, не знает, какие именно и как их сформулировать, и боится своими расспросами обидеть Бурлея, и от этого запутывается еще сильнее. Он вдруг начинал рассказывать о деревне, откуда он родом, об академии, где преподает, жаловаться, какой нынче пошел трудный студент, а потом спохватывался, что ему, как отцу, надо что-то спрашивать у этого юноши, будущего мужа его родной дочери. И начинал перебивать свои рассказы вопросами: как Бурлею служилось в армии и кто у него родные, и хвалил Иру, сокрушаясь, что у нее слабенькое здоровье и ее надо беречь, и, наконец, будто бы вспомнив что-то долго ускользавшее от него, но чрезвычайно важное, вдруг обрадованно закричал рваным фальцетом:

— Ирочка, Ирочка, надо по такому случаю выпить по рюмочке из бабушкиного графинчика.

И тут же, все время порываясь убежать за этим графинчиком, рассказал, что еще от его бабушки остался в семье графинчик из толстого стекла, и потом этот графинчик перешел по наследству к нему, и из этой посудинки они всегда по особо торжественным случаям пьют водочку, настоянную на лимонных корках, а торжественный случай налицо, потому что Бурлей ему, Михаилу Романовичу, очень нравится, хотя молодому человеку еще и надо учиться; что завтра приезжает мама, которая сегодня внезапно прислала телеграмму, так что повод двойной, и завтра они с Ирочкой устроят маме торжественную встречу, и, так как в субботу у Бурлея день, наверное, нерабочий, пусть Бурлей обязательно к трем часам приходит обедать, познакомится с мамой, у которой гастроли прошли очень успешно, а свадебку они устроят через месячишко, жить они, конечно, будут в этой квартире, а на свадьбу своей единственной дочки он, Михаил Романович, из деревни вызовет всю родню. А потом Михаил Романович вдруг сказал, что ребята, наверное, еще не ужинали и что это прекрасно, и он сейчас все организует, и быстро-быстро, мелкой пташечкой, поскакал через всю комнату к двери, по дороге увлекая за собой в помощь Ирочку.

Бурлей стал внимательно оглядывать комнату.

Из глубины квартиры, из кухни доносилось звяканье посуды, стук поминутно открываемой и захлопывающейся дверцы холодильника, петушиный фальцет Михаила Романовича и рассудительный голос Иры. Все это звучало создающим уют фоном, одновременно свидетельствующим, что хозяева заняты и Бурлей может спокойно все рассмотреть.

Сложное чувство овладело Бурлеем: ему понравился и этот дом, представляющий собой живую смесь порядка и хаоса, и его будущий такой компанейский тесть, а главное — присутствующая здесь атмосфера дружбы и крепкой семьи; но одновременно его беспокоила мысль, что он становится молодым хозяином этого дома и членом этой семьи каким-то не очень прямым путем. От этих размышлений на сердце становилось досадно и по-суеверному беспокойно. Он гнал от себя эти мысли, отмахивался от сомнений. В конце концов этого в первую очередь хочет Ира, она будет счастлива, а он сам никому не навязывается...

Среди книг в шкафах Бурлей почти не нашел сегодняшнего дефицита. В основном техника, баллистика и телемеханика; было много фотографий. На одной из полок стоял портрет совсем молодого Гагарина с дарственной надписью: «Дорогому Михаилу Романовичу, нашему старшему товарищу и помощнику. Ю. Гагарин. 20 апреля 1961 года». Другая полка была вся занята книгами, на корешках которых стояла Ирина фамилия. Бурлей придирчиво посмотрел на инициалы — М. Р.— отца. Значит, он важная птица.

Было интересно прочертить биографию человека по вещам, которые его окружают. Бурлей почувствовал себя детективом. Вот почти мальчишкой сият Михаил Романович, с кусочком мела в руках возле доски с математическими расчетами, рядом с ним вроде бы Келдыш. Следующая фотография — Михаил Романович в войну, в военной форме. Топорщится пузырем гимнастерка, плохо стянутая офицерским ремнем. Он сфотографирован рядом со знаменитым гвардейским минометом «Катюша». Любительская фотография, на которой молодая женщина в гриме и платье Татьяны из «Евгения Онегина». А рядом с нею опять же Михаил Романович. Он в полковничьем мундире, в очках, волосы у него уже поредели, но на кителе золотая звезда Героя Социалистического Труда.

В кабинете было множество и других любопытных предметов. Альбомов с приклеенными к ним серебряными дарственными пластинками, шахтерских лампочек с выгравированными надписями, кусков кварца, каких-то памятных, видимо, для хозяина металлических болтов, дорогих «подарочных» хрусталей и кубков. И на всех этих предметах выгравированы слова — на русском, польском, английском, французском языках.

Бурлей еще несколько минут походил по комнате, а потом подошел к столу. В центре, как раз под лампой, в рамочках две фотографии: уже знакомой ему женщины и Иры. По всему столу лежали папки, листы бумаги, узкие типографские полосы верстки, куски перфорированной ленты, цветные каран-

даши, ручки, фломастеры. А поверх всего этого беспорядка лист, похоже, только что исписанной бумаги. Короткие строчки шли столбиком. Бурлей огляделся вокруг, будто кто-то мог за ним подсмотреть, прислушался к звукам на кухне — по-прежнему звенела посуда, хлопала дверца холодильника — и наклонился. Сухим, угловатым, желчным, как показалось Бурлею, почерком было выведено:

«Сентябрь — сдать верстку и командировка на полигон;

октябрь — рукопись на редактирование, премьера у Наташи; поездка в Польшу с делегацией;

ноябрь — отзыв на докторскую, полигон;

декабрь — поездка в Венгрию с делегацией, две недели читаю курс в Варшаве.

А когда же жить самому?..»

В субботу, на следующий день, все утро Бурлей готовился к званому обеду. Ночью плохо спал и встал рано, когда в квартире еще стояла тишина. В стиральном порошке «Тайд» он выстирал финскую рубашку (40% чистого хлопка, 60% — нейлона) и на плечиках повесил сушиться. Почистил кремом ботинки. Потом, как на премьеру, с особым старанием гладил брюки — через газету, а не через тряпку, чтобы хорошенько отпарились; а чтобы лучше держалась складка, чуть промазал ее изнутри мылом.

Было уже около одиннадцати, и Бурлей начал нервничать. Он, конечно, не придет с пустыми руками. Перед визитом он забежит на рынок и купит красных гвоздик для Ириной мамы. Он подчеркнуто принесет цветы только будущей теще. Розы — вызывающе, канны — холодно, а в гвоздиках есть изысканность и скромность. А интересно, где родители Иры устроят им свадьбу? Хорошо бы в ресторане, в «Спутнике». Он тогда наденет черный костюм с белым цветком на лацкане, лакированные ботинки... А не пригласит ли Михаил Романович когонибудь из космонавтов? Это было бы замечательно. Или вдруг на его, Бурлея, свадьбу прибудет Иван Семенович Козловский. Тогда Бурлей смог бы небрежно рассказывать у себя в магазине: «Выпили мы по рюмочке, и тут встал какой-то седенький старичок, постучал ножичком по хрусталю. Я гляжу и глазам не верю: Иван Семенович Козловский. И запел: «Пою тебя, бог Гименей...» А он бы, Бурлей, пригласил на свою свадьбу Николая Прокопенко.

И другие подобные мысли приходили в голову Бурлею. И вдруг среди этой душевной суеты, оттесняя все в сторону, возникла жестокая и неизбежная правда...

Сначала Бурлей вспомнил лист бумаги на столе у Михаила Романовича, а потом так поразившую его фразу: «А когда жить самому?»

Ведь не сможет же он, Бурлей, дурачить всех без конца. Его разоблачат, а может быть, даже Михаил Романович только прикидывается дурачком, все о нем знает и только помалкивает? Впрочем, чего эти технари знают о людях? Им бы только железки, лекции и испытания! А вот встреча с Ириной матерью Бурлея страшила. Какова окажется эта женщина, которая поет Татьяну? «Кто там в малиновом берете с послом испанским говорит?» — «Ага! Давно ж ты не был в свете!..» Михаил Романович на фотографии рядом со своей женой казался нахохлившимся, будто все время старался привстать на цыпочках... «И нос и плечи подымал вошедший с нею генерал...» А что там дальше у Пушкина? «Но я другому отдана, я буду век ему верна». Татьяна понимала толк в людях. А что если никогда не виденная им прежде мать Иры прямо посмотрит ему, Бурлею, в глаза и скажет: «А ведь вы не любите мою дочь». Сумеет ли он в эту минуту солгать? А потом придется врать всю жизнь. Сможет ли он врать каждый день?

От этой мысли у Бурлея по коже пошел мороз. Стоят ли муки вечного вранья того, чтобы сойти с трапа самолета в международном аэропорту с плоским чемоданчиком в руке? Но ведь возможно, что придется пройти и через позор разоблачений. Через крах надежд. Ну, ладно, брань все же на вороту не виснет... «Лишь тот достоин счастья и свободы...» Все, может, еще обойдется тип-топ... А будет ли счастлива с ним Ира? Может быть, ей еще повезет, и она встретит хорошего, настоящего парня, который будет ее любить.

Стыд будет жечь его всегда. Он должен что-то сделать. Хоть один поступок в жизни. Чтобы потом, если жизнь все же не улыбнется, ему было на что сослаться: сам, дескать, не захотел.

Бурлей представил себе, как он спустится вниз и из автомата наберет номер Иры. Голос у нее будет тревожный, полный предчувствий. «Ира,—скажет Бурлей,— прости меня. Но я не смогу больше тебя видеть, никогда...»

Бурлей пошел в ванную мыться. Голова была пустая, туманная, сознание не могло сосредоточиться на чем-то одном, и лишь обрывки образов, событий вчерашнего дня изредка прорывались через усталую пустоту. Бурлей почти автоматически вымыл голову, мочалкой потер себе спину и грудь и включил душ. Под горячей струей тело стало красным, мышцы рельефней обрисовались и, вытираясь, взглянув на свои руки с по-деревенски большими и сильными кистями, Бурлей подумал: молотить бы этими руками да молотить, ишь сколько здоровьичка. Но опять не смог закрепиться на этой мысли и, почти не контролируя своих движений, продолжал вытираться.

Вернувшись в комнату, он поменял трусы и майку, медленно, почти не глядя в зеркало, побрился, протер лицо одеколоном и стал одеваться. Рубашка, новые носки, брюки, подсохшие после глажки на спинке стула, галстук, пиджак. Бурлей надевал все это аккуратными, заученными движениями, которые, казалось бы, освободив голову от контроля за этим процессом, могли дать ему возможность к размышлениям, но мыслей никаких не было, только где-то в глубине его естества, как мышка, бился какой-то беспокойный и злой пульс, и тут Бурлей почувствовал, что ему надо бояться этого мышонка, бояться того, что он может сделать: расшатать, изгрызть планы, которые он долго и тщательно строил,— но тут же отодвинул от себя больно кольнувшие сомнения и начал надевать плащ.

...Внизу, в подъезде, ему перебежала дорогу кошка, а Бурлей, как и все трусы, был суеверен.

●

Я ТЕБЕ ВЕРЮ...

«Я тебе верю!» Он не сказал мне больше ничего. Для меня эти слова стали определяющими в моем поведении. Когда я не могу удержать себя от того, что не следовало бы делать, я вижу его глаза и слышу: «Я тебе верю».

Нас, десять человек, послали в подшефный Рогачевский совхоз на уборку картофеля. Посылали на месяц, но желающие могли остаться и на вторую смену.

Таких желающих набралось шесть человек. Ездили мы все вместе не первый год и всегда, как мы выражались, «на всю катушку», то есть на два, два с половиной месяца.

Трое из нас были холостяками и поэтому ездили к себе на работу за получкой. За женатых деньги получали жены. Обычно ехал кто-нибудь один и по доверенности получал на всех.

В тот злополучный раз ехал я. Были кое-какие дела дома. Все складывалось как нельзя лучше. И свои дела уладил быстро и деньги получил без проволочек.

И черт же меня дернул зайти в этот павильон телефонов-автоматов! Поставил портфель на стул, около входа. Рядом, на полу, стоял портфель, похожий на мой. Я наменял у бабули-кассирши «двушек» и, закрывшись в кабине, начал названивать друзьям-приятелям.

Наговорился досыта. Выхожу, а мой портфель «гулять ушел». Тот, что на полу стоял рядом, стоит, а моего нет.

Посмотрел я по кабинам — никого. Неприятный холодок пробежал у меня по спине. Ведь в портфеле лежали мои документы, две заказанные бутылки «Экстры» и деньги, которые я получил за ребят. Ни много ни мало 200 рублей. Хорошо еще был аванс, но и от этого покроешься испариной.

Я — к бабуле-кассирше.

«Кто,— говорю,— только что вышел и портфель мой прихватил?»

«Мужчина,— говорит,— лет тридцати, представительный такой, но он с портфелем заходил, с ним и вышел».

«Я,— говорю,— тоже с портфелем пришел и с чужим уходить не хочу; ведь у меня там документы с деньгами».

Взяли мы с ней портфель, тот, что на полу стоял, раскрыли, а в нем половина портфеля черной смородины насыпано. Я аж взвыл про себя (вслух не мог: голос пропал).

Звонит бабуля в милицию. Пришел капитан, все честь по чести, что́ случилось, то да се. Приглашает меня пройти с ним, тут, говорит, недалеко. Бабулю предупредил, что если кто с портфелем придет, то пусть направляет прямо к нему. Я хотел заметить, что какой дурак сменяет 200 рублей и «Экстру» на черную смородину, но промолчал.

Пришли. Действительно недалеко, за углом. Капитан оказался участковым уполномоченным этого района. Я рассказал ему, что́ у меня было в портфеле, что деньги не мои и что меня ждут в совхозе и если я сегодня не приеду, там черт-те что могут подумать.

Капитан мне спокойно заявляет, что кражи никакой не было, просто произошла ошибка, перепутали портфели. В крайнем случае я могу взять оставленный портфель, а документы найдутся, они никому, кроме меня, не нужны. Ну, а что касается остального, то, мол, сам виноват, поменьше ушами хлопать надо. (С последним я был согласен.)

«В конце дня зайдите или позвоните, может, чего и принесут».

Взял я портфель, вышел на улицу. Про себя думаю: «Портфель — черт с ним, и этот неплохой; документы найдутся, а если и нет — дубликат выдадут; а вот как быть с деньгами?»

С этими мыслями я бродил по улицам, но так ничего и не придумал.

В конце дня зашел к участковому, заранее предвидя, что это бесполезно. Так оно и вышло. Он меня несколько успокоил: если в течение двух недель паспорт не найдется, то получу новый.

«Так позванивайте, может, еще и вернут. Больше помочь ничем не могу».

В совхоз в тот день я решил не ехать; направился домой в надежде что-нибудь придумать. Не знаю, какое было у меня выражение лица, но смотрели на меня все с жалостью. В автобусе какой-то парень, примерно мне ровесник, как-то уж до того участливо спросил меня, что́ стряслось и не может ли он чем помочь, что я ему все рассказал. И то, что занять такие деньги мне сейчас негде.

«Да, дела»,— сказал он и замолчал, о чем-то думая.

Так мы проехали остановки три. Вдруг он подтолкнул меня к выходу.

«Я,— говорю,— не выхожу, мне дальше». Но он, приговаривая «выходи, выходи», высадил меня из автобуса. Я решительно не мог ничего понять.

«Анатолием меня зовут»,— представился он.

«Саша»,— машинально буркнул я в ответ, пытаясь догадаться, чего же ему от меня надо.

«Пойдем к нам, может, чего и сообразим».

Взял меня под руку и повел к стоявшему невдалеке новому блочному дому. Не знаю почему, но я покорно шел за ним.

Оказалось, он жил в общежитии. Однокомнатная квартира, комната метров двадцать, три кровати, шкаф, тумбочки, чистота. Оставив меня одного: «Посиди, подожди, я сейчас»,— он вышел.

Просидел я один довольно-таки долго. Сидел и все думал: зачем я сюда приперся?

Наконец, вернулся Анатолий.

«Все в порядке, пойдем».

Вышли мы на улицу.

«Тебе с какого вокзала ехать?» — спросил он.

«С Савеловского, а что?»

«От станции доберешься?» — опять спрашивает он.

Я усмехнулся:

«Было бы с чем, пешком дошел бы».

«Вот здесь 200 рублей, получишь — отдашь»,— и сует мне деньги в руку.

«Как же так? — заговорил я, вконец ошарашенный.— Ведь ты же меня совсем не знаешь. А вдруг я тебе все наврал. И почему ты уверен, что я тебе их верну; ведь ты же не знаешь ни моей фамилии, ни где я живу, работаю? Нет,— говорю,— я не возьму».

Он постоял, посмотрел на меня, сунул деньги мне в руку и сказал:

«Я тебе верю! — Повернулся и пошел, бросив на ходу: — Адрес, надеюсь, не забудешь».

А я стоял с деньгами в руке и молчал, как последний идиот, глядя ему вслед. Перед подъездом он оглянулся и махнул рукой, показывая на часы: давай, мол, ехай, а то опоздаешь.

Ребята меня заждались. Правда, «Экстры» я им не привез, но на меня не обиделись, за этим делом у нас не особо гнались.

Все было как обычно, только я сидел молча и все думал: как же так, совершенно незнакомому человеку поверить на слово и отвалить ему в долг две сотни?! О том, что я могу их не возвратить, у меня даже и мысли не было; это было просто невозможно.

А его слова «Я тебе верю»...

Это похоже на что угодно, но не на действительность. Хотя, впрочем...

Моя кровать стояла рядом с Виткиной. Мы с ним из одного цеха и в совхоз ездили всегда вместе, в общем, друзья.

Я рассказал ему все, что со мной произошло. Он долго не отзывался; потом, повернувшись на другой бок, сказал:

«Спи, завтра разберемся».

Утром, после завтрака, как обычно, пошли на работу. Витька молчал, я тоже. До обеда грузили мешки с картошкой — тут уж не до разговоров, только успевай поворачиваться. А после обеда подходит ко мне бригадир и говорит:

«Иди переодеваться».

«Зачем?» — спрашиваю.

Она мне подает конверт. Разворачиваю — деньги.

«Ехай, отдай должок и спасибо скажи от всех нас».

Потом пояснила, что выписала в правлении аванс на четверых, да, так сбросились: с кем, мол, не бывает. И уже сердито добавила:

«Чтоб завтра утром на работу успел, как хочешь...»

И когда Витька успел обо всем рассказать?

Анатолия я не застал. В комнате был его товарищ; он сказал, что Анатолий вернется поздно. Было обидно, что я его не застал, но надо было возвращаться, чтобы успеть на работу.

Я оставил конверт с деньгами, записку с моим телефоном и адресом и просил позвонить мне.

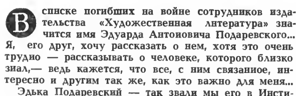
Он так и не позвонил. После приезда я тоже закрутился. Ну, а когда наконец выбрался и приехал к нему в общежитие, оказалось, что они всей бригадой уехали на какую-то стройку. Как я ни старался, но толком узнать о нем так ничего и не смог. Только у коменданта узнал, что деньги всем отдали, кто давал.

Единственное, что у меня осталось,— это его слова: «Я тебе верю». Я их все время помню, они помогают мне жить, и мне хочется, хоть с опозданием, поблагодарить неизвестного друга. Спасибо тебе, Анатолий!..

Не знаю, поверите ли вы в эту историю, но, как говорится, «что было, то было».

Александр С.

г. Москва.



В списке погибших на войне сотрудников издательства «Художественная литература» значится имя Эдуарда Антоновича Подаревского... Я, его друг, хочу рассказать о нем, хотя это очень трудно — рассказывать о человеке, которого близко знал,— ведь кажется, что все, с ним связанное, интересно и другим так же, как это важно для меня...

Эдька Подаревский — так звали мы его в Институте философии, истории и литературы имени Н. Г. Чернышевского (ИФЛИ) — выделялся с первых дней первого курса какой-то особой, неотразимой общительностью; он сразу перезнакомился со всеми, и как будто годы и годы знали его все — от нас, «русистов» первого курса, до старшекурсников. И мне грустно и странно, что теперь имя моего друга уже ничего не говорит многим...

Это был человек открытой, публичной деятельности, но не форума, не ораторской трибуны и не лекторской кафедры — для этого в нем слишком много было несолидного, так сказать, «камерного» юморка, импровизационности бытового свойства.

В нем угадывался журналист. Кажется, еще раньше, чем мы стали выпускать курсовую стенгазету, он включился в кипящую жизнь факультетской — знаменитой на весь ИФЛИ — «Комсомолии», и представить себе ночные бдения газетчиков, выпускавших очередной номер, уже нельзя было без него, везде сующего свой нос «кораблем», без его высокой фигуры, словечек, острот, выкриков, похлопываний по плечу, шумных одобрений и довольно едких насмешек.

Эдуард сыпал летучими цитатами из юмористов всего мира и очень часто пародийно обыгрывал известные всем произведения. Он мог с энтузиазмом скандировать — именно скандировать, а не читать — самые разные стихи, например, о Будрысе по-польски, Овидия и Горация по-латыни (мы их «проходили», но не все горели к ним энтузиазмом), или длинные, неуклюже звучащие ныне строки Кантемира.

Он сам писал стихи и переводил Гейне и Бехера (лучшие из его стихов вошли в сборник «Имена на поверке», подготовленный Сергеем Наровчатовым и трижды выпущенный «Молодой гвардией»). На мотив из «Травиаты» Верди мы распевали Эдиного сочинения балладу о Семене Красильщике, ныне здравствующем журналисте, а тогда завзятом хроникере «Комсомолии»:

Красильщик стоял над рекой голубой,
Озаряемый полной луной.
И пытался ногой доплеснуть до луны
Серебристую пену волны.
И русалку пытался достать из воды —
Из родной из ее социальной среды!..

В отличие от серьезных стихов, в писании которых Эдуард чувствовал себя несколько скованным, в шутливых сочинениях он без оглядки увлекался свободной игрой формы, причем не чистой «звучатикой стиха» (выражение З. Паперного-студента), а образотворчеством, порой комичнейше пародирующим известные образцы.

Лекции и предметы, в которые каждый из нас погружался в зависимости от натуры и остающегося до экзаменов времени, Эдуард схватывал на лету, «готовился» на ходу — в трамвае, по дороге к общежитию, в институт, в столовку... Занимался он, казалось, не много, но весьма продуктивно. Работал, когда из общежития переселился в домик тестя, стоя за специально сделанным пюпитром, переминаясь на длинных ногах.

Наблюдательность его лукавых глаз была удивительна. Это он первый обнаружил, что обаятельнейший Н. К. Гудзий слово в слово шпарит наизусть из хрестоматии свои же пояснения к «Китоврасу», «Петру и Февронии», «Даниилу Заточнику»... Открытие нам понравилось, мы следили по хрестоматии и

веселились, когда Николай Калинникович «ошибался» в запечатлениом книгой слове... Вспоминается также, с каким веселым напором, читая свой доклад на семинаре того же Н. К. Гудзия, Эдька склонял по всем падежам злополучную фамилию одного исследователя каитемировских виршей... Доставалось и декаиату.

Он сразу отзывался на всякое посланиое ему на пустопорожней лекции «творчество» — тоже творчески и хлестко. Однажды я набросал фигуру студента на четвереньках, оседланного неким нелюбимым лектором. Пять-шесть лекционных минут, и я получил свое творение назад с медью звучащей подписью:

Паразитарен и бездарен
Воссел на наши рамена
Облезлый кафедральный барин —
Ужель на вечны времена?!

Ничто не вечно, но еще долго этот незадачливый лектор вызывал студенческое остроумие...

Столь же скор был и карандаш Эдуарда-рисовальщика; точно схватывал он характер натуры. Жалею до сих пор, что вместе с другими рисунками моими, отданными в МГУ на какую-то выставку, пропал и его набросок молодого Сергея Наровчатова, сделанный легкой графитной дымкой: кудрявый чуб и небрежная папироска в пухлых юношеских губах, светлые — будто бы видно, что голубые! — глаза, неподражаемое выражение той значительности, какой бывают отмечены юные поэты. Помнятся еще наброски двух других сейчас здравствующих деятелей нашей литературы; оба они у меня, «художника» «Комсомолии», как-то не получались. «Ну, дай!» — подошел Эдька, и на клочках бумаги появились несколькими штрихами один и другой — во всей своей характерности.

Чем-то он напоминал молодого взнузданного коня, который вздернул голову, косит карим глазом и готов весело заржать. Он сам взнуздывал свою энергию, любил ставить цели — пусть до смешного случайные — и добиваться их ради самотренировки.

Но характер взрослел быстро.

...Казалось, еще не так давно они вчетвером — Эдька, Игорь Черноуцан, Глебушка Власов и Борис Баринов — спускались в лодке по Чусовой, голодали там и объедались мясом выбракованиого ветеринаром барана и соответственно были изображены в первом осеннем номере вездесущей «Комсомолии»... И вот Эдуард участвует уже в другой, серьезной, научной экспедиции. Под руководством Григория Осиповича Винокура он с другими товарищами разыскивал в диалектах Севера «пропавший ять», древнерусский дифтонг, и все они вместе с ятем находят дружбу... Разве не это прочитывается прежде всего из строчек Эдькиного письма к одному из друзей? Вот отрывок (под «генералом» разумеется Г. О. Винокур):

«...Приехав в Москву, хотели мы собраться, но народ разъехался по дачам, генерал тоже. Только два дня назад я застиг его по телефону и долго-долго говорил с ним. Решили мы, что соберемся все же после, в начале сентября, дабы и тебя, отсутствующего, не обидеть. Должен тебе, Гошенька, доложить: генерал возлюбил тя. В вагоне, после того как он обескуражил твою милость лобзанием во сахарны уста, он мне исповедовался: славный, говорит, парень Игорь. Чудесный. Диалектолог, говорит,— черт его знает, какой он там диалектолог будет, а парень уж больно хороший. А перед твоей высадкой он (уж открою тебе тайну сию, знай, чертяка, каковы чувства ты внушать способен) у меня потихоньку спрашивает: «Скажите, Эдик, как у Игоря нашего материальное положение (это его крупа-то обеспокоила!!), а то, говорит, я ему деньжат хотел предложить... так, по-товарищески...» Ну, я, правда, на это тобою уполномочен не был, однако заверил, что-де ничего и-де проживешь и т. д., а что крупа — это только потому, что из дому просили и т. д. Так я, братец, отрешил тебя от получения малой толики деньжат. М. б., превысил полномочия? А? Ты черкани, я мигом, на Арбат, 20, кв. 14...»

Эдуард обгонял многих из нас. Он, не бросая, разумеется, института, стал работать в «Красной нови». Ходил в подпоясанном кожаном пальто — потертом до чрезвычайности, но таком тогда для нас представительном! Стал человеком семейным и «состоятельным»... Не раз помогал мне, тогда безнадежному голодранцу. Сохранилась его записка на бланке журнала «Красная новь»: «Генька! Привез тебе 80 пиа. Хватит? Больше — нету, рад бы, да нет. Не уезжай, черт, не простившись...» (Пиастры — это из «Острова сокровищ» Стивенсона, слово из детства, вошедшее в его язык.) Однажды он организовал мне работу — нарисовать портреты русских писателей для нашей читалки на четвертом этаже. Я сделал их углем, вывесили не всех и скоро по одному убрали, но деньги мне выплатили. Мы с Эдуардом отметили это событие в ресторане гостиницы «Москва»; с пятнадцатого этажа мы смотрели закат, а потом шли по улице Горького до Белорусского вокзала и, размахивая руками, решали судьбы мировой литературы. А народ уступал дорогу...

...Война. Мы на разных работах. Я — грузчик, по комсомольской путевке. Он — роет противотанковые рвы под Малоярославцем, и вот его открытка:

«4/X 41

Дорогой грузчик! Оч. рад был гласу твоему. Пишу, урвав время, предназначенное для выпуска ротной газеты, коей я редактор-издатель.

Копается нам недурно. Ознакомившись (можно в выдержках) с моими посланиями Алене и в «Кр. новь» (с красновиовцами у меня оживленная корреспонденция вплоть до присылания мне сигн. экз. журнала + ...бутылка водки (!во!), ты можешь получить достаточное представление об моем бытии, которое опред. и мое сознание — ныне сознание истинного землекопа-любителя. Предполагается, что числа 15/X мы поедем в Москву. За эти $1^1/_2$ мес. мы тут отлично отдохнули и прежде всего — от возд. тревог. В неписании моем есть и материальная подоплека: недостача открыток и времени, но, несмотря на это,— «я жвынаюс» (Ир. Андроников). Живется нам тут, по чести, совсем недурно, а в работу втянулись и «вкалываем» по 12 ч. в день. Сердимся только на дожди. Ну, будь здоров, деятель физ. труда. Давно ли ты писал об эстетике Горького? Ау!

Твой Э. Грабарь».

Три пояснения. Алена — Елена Дмитриевна Курбатова — жена Э. Подаревского, театровед, теперь автор работ по истории русского костюма. Мою курсовую работу Эдуард читал, его замечания на нее сохранились. Грабарь — конечно, просто «землекоп», в отличие от И. Грабаря.

Было еще письмо — из запасного полка: он уже лейтенант-минометчик и тренирует курсантов по тактике, стрельбе, топографии и лыжам. «Хожу немало

на лыжах между блат и елей марийских, по многу часов таскаю за собой своих выучеников и, к гордости своея, даю им жизни...» Это было в декабре 1942 года.

Последняя весточка от него — листок открыточного формата, сложенный пополам,— пришла на мое имя под Ленинград в село Любытино 3 марта 1943 года. Вот что он писал:

«Дорогой Ген!

Аз — в Действующей. «Историографом» и трубадуром, спецкором etc своего соединения — так покамест, а там видно будет. С 1 по 14 янв. был в Москве, видел Алену, сына — сын преотменный; страшно почему-то обрадовался, что цел твой мастичный Сирано де Бержерак — оптимистичнейшее из твоих созданий, голоштанный ты российский жизнелюбец, растрепа-душа, чертовски хотел бы тебя увидать, да распить бутылочку на 15 этаже гостиницы «Москва», а после доказывать пьяному на улице великую порочность гегельянства в искусствознании... Напиши мне, жив ли ты,— тогда черкну тебе подробнее. Адрес — на обороте. А пока крепко жмаю твою многоталанную лапу.

Твой до печенок Эд.»

Где он был? На листочке — штамп цензуры с обозначением города: Воронеж.

Потом откуда-то из-под Ворошиловграда прислал свою последнюю весть и другой мой близкий друг, с которым вместе мы поступали в ИФЛИ,— Юрка Соколов. Он был в роте автоматчиков...

Из последних писем на имя Эдуарда Антоновича Подаревского случайно сохранилось одно, посланное его другом через журнал «Огонек» значительно позже Сталинградской битвы, в которой он участвовал. Вот начало этого письма:

«Ю. фронт, 28 июня (1943 г.).

Эдька, дорогой!

Вот уже третий раз встречаю в «Огоньке» юмористические твои «опусы».

Очень рад за тебя, за то, что ты на своем настоящем деле. Написаны они, ей-богу, неплохо. Может быть, лучшее доказательство этого то, что два прошлых вошли уже в репертуар дивизионного агитколлектива.

Очень хотелось бы поговорить с тобой обо многом, обо всем, что было пережито и передумано в это тяжелое время. Но мало шансов, что письмо это, пущенное в пространство, попадет в твои руки...»

Окончу свои странички переводом Эдуарда из Бехера:

...Так он лежал. Товарищи накрыли
Платком его разбитое лицо.
И пятна крови по платку поплыли.
Густая кровь из мертвого лица.
Так он лежал. И не было лица.
На месте мертвого лица
лежало знамя...
Прощай, товарищ!
Реет наше знамя,
И в этом знамени
живет твое лицо.

Г. СОЛОВЬЕВ.

Владимир Британишский

Открытие Америки

Американский поэт-коммунист
Майкл Голд
написал стихотворение об Америке,
очень удачное по содержанию,
но без рифмы и без размера.
Я прочел его, будучи восьмиклассником,
но уже сознательным комсомольцем,
и добросовестно потрудился
над этим сырым материалом:
уложил аккуратные фразы в торжественный
гулкий анапест,
подобрал благозвучные точные рифмы
и, довольный своим результатом,
предложил для печати.
Литконсультант
областной комсомольской газеты,
очкастый, лет сорока,
красным карандашом похерил
все мои рифмы
и сказал мне, иронически улыбаясь,
что, насколько он помнит,
в оригинале
ни размера, ни рифмы нет,
а, значит, не может их быть и в переводе.
Для меня это было
открытие Америки.

✪

Первая послевоенная осень
была невероятно щедрой:
я увозил с Урала
несколько ярких кусков яшмы,
а в Москве, в промежутке между поездами,
я увидел кремлевские звезды
и врубелевского демона,
на вокзале
майор, возвращавшийся из Средней Азии,
вдруг угостил меня целой гроздью
синего винограда,
наконец в Ленинграде
был парад кораблей на Неве и салют
над Зимним дворцом,
и волшебный стеклянный шар, хранящий
внутри
швейцарское озеро
и добрую душу бабушки, умершей
в блокаду.

ОН ВЕЛ РУКОПАШНЫЙ БОЙ...

Несомненно, эта книга («Воспоминания об Илье Эренбурге». Сборник. Составители Г. Белая и Л. Лазарев, «Советский писатель», 1975) привлечет пристальное внимание многочисленных читателей, в том числе и молодых.

Илья Эренбург прожил большую, сложную, трудную и яркую жизнь, оставив свой неповторимый след в прозе, поэзии, публицистике — во всей советской культуре вообще. Но, пожалуй, особенная страница этой жизни — деятельность Эренбурга в тяжелую и опасную для нашего социалистического Отечества пору — в годы Великой Отечественной войны. Тогда вся армия, вся страна, можно сказать, почти ежедневно читала поистине пламенные, рожденные великой любовью к Родине и яростной ненавистью к фашизму статьи, памфлеты, очерки, заметки Эренбурга. Их печатали «Красная звезда» и другие газеты.

«Эренбург ведет рукопашный бой с немцами, он бьет направо и налево. Это горячая атака...» — так в годы войны Михаил Иванович Калинин характеризовал работу И. Г. Эренбурга.

Не удивительно, что Гитлер и его клика так люто ненавидели писателя.

Да, Великая Отечественная война была вершиной гневной, яростной публицистики Эренбурга. И вместе с тем это все же не вся яркая, полная труда и исканий деятельность большого мастера советской литературы. Она знает много этапов, глав, страниц, которые во всем своем сложном и неповторимом сплетении рисуют всегда беспокойную жизнь романиста, поэта, критика, исследователя искусства и прежде всего советского патриота, яростного врага фашизма.

Об этом читателю сборника с волнением поведали Александр Твардовский, Константин Федин, Николай Тихонов, Константин Симонов, Алексей Сурков, маршал Советского Союза Иван Баграмян и многие другие авторы, которые хорошо знали Эренбурга. Книга о нем чем-то напоминает его жизнь и его собственные книги: здесь речь идет лишь о самом главном, о том, что было воздухом его бытия и творчества. Это Советская Родина, трудовое человечество, мир, цивилизация, культура. Писатель Алексей Эйснер вспоминает об Эренбурге в Испании в 1936—1938 годах. Константин Симонов пишет о том, как после Победы он с Эренбургом путешествовал по США, о том, как Эренбург продолжал сражаться со скрытыми адвокатами фашизма. Николай Тихонов вспоминает, как много труда, страсти, железного убеждения в возможности отстоять мир на Земле вложил Эренбург в организацию всемирного движения сторонников мира.

...Константин Паустовский говорит о счастье Эренбурга: он пользовался народным признанием.

Да, это подлинное счастье художника...

Наум МАР

ОТ СЕБЯ НЕ УЙТИ

В книгах Григория Глазова все пульсирует военная память. Те далекие годы для него — и правда пережитого, и камертон для сегодняшнего, и предупреждение на будущее.

Так происходит и в повести «Я, ты и другие», давшей название его новой книге прозы («Каменяр», Львов, 1975). Речь в повести идет о делах сегодняшних, преимущественно об учительских буднях. В средоточии происходящего — «второстепенный» по месту учитель физики Чередниченко, сверх меры хлебнувший всего в войну. Он умеет занять интересным делом «трудных» ребят, но непреклонно ставит справедливые четверки юноше, которого напористая мама пробивает на медаль. Не вынесло его сердце анонимного доноса, незаслуженного позора, умер он от разрыва сердца — это слово в данном случае точнее определяет суть дела, чем современный термин — инфаркт.

Но укрепил он, как передал эстафету, чувства добрые в молодой учительнице Жене, главной героине повести,— тем и сильно добро, что не загасить его: все равно разгорится, подобно угольку в костре, едва подует ветер.

И в рассказах, посвященных впрямую войне, существует, хотя и в ином ракурсе, эта непрямая перекличка прошлого и настоящего. Человеку никогда не уйти от острых проблем, человеку никуда не уйти от себя, напоминает Г. Глазов. И это не пессимизм, не фаталистичная предопределенность, а убеждение, что жизнь нужно силадывать смолоду.

Уже рассказ «Конь» дает представление о характере его прозы. Только что прибывший на фронт лейтенант получает от комбата задание найти в деревне лошадь, чтобы вывезти боеприпасы со сломавшейся автомашины. Он находит единственную на всю деревню лошадь, которую берегут для весенней пахоты, и забирает ее — под самое-самое честное слово возвратить. Но к тому времени, когда боеприпасы перевезены, срочно понадобилось проделать для атаки проход через минное поле, а саперов нет. И комбат приказывает пустить по полю лошадь с боронами вместо миноискателя. Проход был

проделан, но сама лошадь подорвалась. «Я дал честное слово, что возвращу ее... Честное слово дал! Что же они подумают?» — такова правда лейтенанта. «А он давал честное слово, что в двадцать ноль-ноль возьмет высоту. А!» — такова правда комбата. Кто прав, как поступить?

В ситуациях, побуждающих к раздумью, к собственному нравственному выбору, коренится главный смысл рассказов Г. Глазова, их своеобразие в нашей военной прозе.

Не оттого ли и названа книга так объемно «Я, ты и другие»: в этом и «горизонтальный» ряд — цепочка от каждого из нас к нашим современникам, и «вертикальный» — цепочка от поколения к поколению, от фронтовиков к сегодняшним юношам и далее к завтрашним молодым. Память о прошлом оказывается взглядом в будущее.

А. БОЧАРОВ

В СВЕТЕ ПУШКИНА...

Для тех, кто знаком с работами Юрия Прокушева, название его новой книги — «Подвиг Пушкина» — несколько неожиданно. Ведь главный предмет его многолетних исследований — жизнь и творчество Сергея Есенина. И вдруг — Пушкин... Что это — новый маршрут в творчестве?

Раскроем книгу, изданную «Библиотекой «Огонька». Первая же статья, давшая название сборнику, убеждает в том, что Пушкин для Ю. Прокушева — вовсе не «вдруг». И не случайно, а вполне закономерно встретим мы в публицистической статье о творческом, человеческом, гражданском подвиге Пушкина многие имена, связанные с русским гением незримой, но прочной, неразрывной нитью.

Есенин здесь еще в общем ряду. Но, перелистав несколько страниц, мы встретимся с ним уже один на один в статье «Россия — моя поэзия». И здесь Есенин в контексте времени, но он в данном случае главный предмет разговора. Именно разговора. Как-то не хочется применять к этому эссе солидные, но тяжеловесные слова: «исследование», «анализ». Хотя, бесспорно, написать так о Есенине нельзя без знания и ясного понимания трагической и прекрасной жизни поэта, его музы.

Некую новую для нас грань темы высвечивает Ю. Прокушев в статье «Вперед и Пушкину», которая имеет подзаголовок «Пушкин и Есенин». Читаешь и убеждаешься, что соотнесение этих имен не только правомерно, но и плодотворно. Оно построено не столько на очевидностях, сколько на внутренних связях двух поэтических гениев. И потому убедителен итоговый вывод:

«От Пушкина, его высочайших нравственных, гражданских традиций берет начало огромная мера ответственности Есенина перед своим временем, народом, историей, беспощадная требовательность к себе...

Великий Пушкин помогает нам полнее выявить главное в Есенине, его поэзии, помогает увидеть действительно великого Есенина».

Перевернув последнюю страницу, уже по-иному воспринимаешь название книги. Оно наполняется высоким смыслом, становится символичным...

Пушкин, Некрасов, Блок, Есенин, Маяковский... Огромный океан Поэзии. Книга Ю. Прокушева будет хорошим спутником тех, кто отправляется в прекрасное плавание по этому океану.

Алексей ПЬЯНОВ

ПОСТИГАЯ ПРОШЛОЕ...

Обратясь к книге воронежской писательницы Ольги Кретовой «На дорогах жизни» (Центрально-Черноземное книжное издательство, 1975), в которую вошла документально - художественная повесть «Мой дядя Ваня», читатели познакомятся не только с И. К. Вороновым — земским статистиком, педагогом, литературоведом, поэтом, революционером, узнают не только об интересной человеческой судьбе, но и ощутят ее причастность к судьбе целого поколения русской интеллигенции, встретившего революцию.

Документы чередуются здесь с детскими воспоминаниями О. Кретовой, а свидетельства очевидцев, рассказы друзей — с изображением событий яркой и полной жизни героя повести.

О. Кретова сумела нарисовать не только характер человека, но и «образ» Времени, которое живет в повести как полноправный персонаж.

Знакомя нас с письмами Алексея Максимовича Горького к Воронову, где речь идет об участии последнего в сборниках издательства «Знание», писательница убеждает, что многое из поэтического наследия И. К. Воронова незаслуженно забыто.

Сочетание в повести документальности и автобиографичности позволяет разглядеть в ней еще один интересный образ — самого автора. И это тоже удача. Ведь именно он — характер сначала ребенка, затем подростка и взрослой участницы событий — дает возможность глубже ощутить нарастание тревожной накаленности тех дней и, постигая прошлое, острее почувствовать прочную связь былого с настоящим.

Вторая повесть, вошедшая в книгу,— «Четыре встречи с юностью Янониса» — убедительная попытка познакомить читателей с малоизвестными событиями в истории революционной борьбы в Воронеже 1915—1916 годов, участием в ней литовского поэта - революционера Юлюса Янониса. Стремлением перекинуть мост между прошлым и настоящим одухотворена книга Ольги Кретовой.

Н. БЕККЕРМАН

ТРИ КОМНАТЫ СМЕХА

Аркадий Арканов выпустил свою первую книжку («Подбородок набекрень», «Советская Россия», 1975).

Тем не менее трудно записать это издание в графу литературных дебютов—уж очень уверенное и искусное у автора перо. Да и место его в современной юмористике давно уже определилось, и это весьма почетное место.

Книжка не только талантливо написана, она и отлично организована. Она разбита на три раздела, каждому из которых предпослано предисловие, остроумное и изящное. Арканов, как радушный хозяин, проводит нас по своей квартире, по трем комнатам смеха, в которых он поселил персонажей своих рассказов и маленьких комедий.

И мы смеемся вволю — нас радует и неистощимость выдумки, и меткая наблюдательность, и точно найденное слово.

Однако я был бы огорчен, если бы сказанное мною представило автора как телегеничного весельчака, мастера развлечь и ублажить. Это было бы неоправданное заключение. На малой площади дарование автора обрисовалось достаточно многократно, не только анекдотическая ситуация, но и тонкая пародия, не только лирическая миниатюра, но и исследование человеческих отношений.

Юмор Арканова—юмор объемный, и на донышке его рассказов мы можем обнаружить и плодотворное раздумье, и печаль, и живую, далекую от стереотипа мысль.

Прочтите лучший рассказ сборника «Вареная курица в четверг», и вам сразу станет ясно, что не смехом единым жив писатель.

Известно, что в каждом юмористе тлеет сатирик. Возможно, что и наш автор не чужд сатирической ноты — об этом свидетельствует, например, отличный рассказ «Перед вторжением с Нептуна». И все же Арканов — прирожденный юморист. Усмешка у него мягкая, сочувствие ему ближе, чем издевка. Даже там, где оправдано негодование, у него рождается грусть.

Очень хорошо, когда первая книжка вызывает желание сказать: какой зрелый писатель! Но сразу же думаешь и о том, что она могла бы появиться и раньше. Арканов уже не молод. То есть не то чтобы не молод, однако же и не юн. И сейчас ему надо работать с особой интенсивностью, в литературе каждый день на вес золота, а тот, кто посвящает себя короткому рассказу, как бы берет дополнительные обязательства. В этом жанре отдача должна быть регулярной, а паузы возможно короче. Именно в нем с предельной ясностью видно, как количество переходит в новое качество, как постепенно из зарисовок возникает картина жизни.

Все ли совершенно в сборнике Аркадия Арканова, о котором сказано столько добрых слов? Или у него есть отдельные недостатки? И, стало быть, возможности расти? Думаю, что у него есть и то и другое.

Так, комедию «Смотровой ордер» сильно портит заданность, которая в какой-то степени ощущается и в другом драматическом этюде. Порою автору изменяет чувство меры. Рассказ «Счастливый Владимир Григорьевич» только выиграл бы, если б финишировал ровно на три абзаца раньше.

Впрочем, умение вовремя поставить точку должен проявить и рецензент.

Леонид ЗОРИН

Станислав ДОЛЕЦКИЙ

Станислав Яиовлевич Долеций — известиый детсиий хирург, профессор, члеи-иорреспоидеит Аиадемии медициисиих иауи СССР, автор иииги «Мысли в пути» (главы из этой иииги были иапечатаиы в «Юиости» № 3 за 1974 год). Сейчас им подготовлеио второе издание иииги. В нее войдут иовые главы, в том числе те, иоторые мы публииуем.

МОНОЛОГИ

(Подслушанные исповеди)

Рисуики С. БРОДСКОГО.

У каждого человека вне зависимости от его возраста, пола, от эпохи и обстоятельств бывают мгновения, когда он напряженно думает о себе, о своем месте в жизни, анализирует свои поступки, пытается разобраться в ошибках и просчетах.

Коль скоро вы умеете слушать людей, у вас соберется громадное количество наблюдений. На этих страницах нет вымысла; все рассказанное здесь — правда. Автор отобрал лишь то, что волновало его и казалось ему интересным. Естественно, он мог ошибиться в своем выборе, но тут уж ничего не поделаешь...

возрождение

Отчего сегодняшний день столь прекрасен? Не буду торопиться. Вспомню все по порядку. Когда я проснулась, ничто не предвещало перемен. Я долго думала о последних годах своих и пришла к неутешительному заключению: жить мне осталось немного, и ожидают меня обычные, безрадостные дни.

После ухода на пенсию первое время я чувствовала себя странно. Затем, когда приняла решение бывать на работе, мне показалось, что выход найден. Я обходила сложных больных. Ирина Петровна, сменившая меня, охотно прислушивалась к моим словам. Но потом я стала замечать, что мое положение ложное. Новые сестры и молодые врачи, которые не знали меня и которых не знала я, с недоумением смотрели на седую старуху, бравшую тетрадь для консультантов, истории болезни, в которых среди прочих назначений было записано: «Консультация психиатра». Я аккуратно вносила в историю болезни свои данные, но лечащие врачи вежливо и безучастно выслушивали мои суждения. А раза два у меня создалось впечатление, что Ирина Петровна стеснена моим присутствием.

Я стала реже бывать в больнице. И с каждым днем во мне росло ощущение моей ненужности. Вначале я даже не отдавала себе отчета, насколько страшное зто чувство. Я не скажу, что испытывать его мне вновв.

Когда мой сын женился и стал все реже бывать у меня, я тешила себя иллюзиями, что он, воспитанный мной, моя плоть от плоти, не может не понять моего состояния. Моего одиночества. И он понимал и чувствовал его. Они с женой приходили ко мне довольно регулярно, потом с внуком, потом с обоими внучатами. Мы вместе обедали или ужинали. Возились с ребятами. Но общение наше было всегда связано с хозяйственными заботами, летними отпусками. А самому главному, что сближает людей — разговорам о волнующем, интересном, об огорчениях и обидах, успехах и надеждах,— этому не находилось времени.

Я хорошо знаю Игоря. Он хороший, добрый мальчик. Он не может жить без общения. И вероятнее всего, он в то же самое время обсуждал многие свои вопросы с женой, друзьями, но только не со мной. Отчего?

Как мне было одиноко! При всем моем оптимизме. Лишь однажды, давно это было, но я помню тот случай, когда Игорь приехал ко мне и мы сидели с ним почти целый вечер. Долго молчали. А потом он рассказал, как ему трудно с Зиной. Он даже не догадывался, что для меня зто не тайна. Характер Зины лежит на поверхности. А Игорь... Более несовместимой пары трудно придумать. Очевидно, имен-

но поэтому они полюбили друг друга: за несходство. А сейчас оно мстит им за себя.

За долгие годы жизни видела я многое. И мне ничего не стоило рассказать Игорю сходные истории, не давая ему никаких советов — от них он всегда мучительно страдал, полагая, что этим ставится в унизительное положение.

На следующий день я встретилась с Зиной. Разговор был мне труден: какие только слова у Зины не рождались. И лишь после того, как я ей посочувствовала, что ей достался такой нескладный муж, который без нее не проживет ни дня, она расплакалась у меня на плече.

Прошли годы. Зина с Игорем живут лучше других. У них много личных, но еще больше общих забот. Но я им совершенно не нужна.

Странное дело. Ведь и мои близкие друзья и сослуживцы знают, что я кладезь не только врачебных знаний и навыков, но и житейского опыта. Моим друзьям со мною интересно. Я умею не только говорить, но и слушать... А с каждым годом уменьшается число старых друзей и знакомых. Новые приобретаются с трудом.

Ощущение ненужности, которое я испытала когда-то в семейной жизни, а потом на работе, не покидает меня. Обидно это во многих отношениях. По городу бродят толпы неприкаянных молодых людей. Им трудно общаться с родными. Каждое слово дома раздражает их своим императивом, нескрываемой заботой. Они не понимают, что за ними не подсматривают, не «шпионят», а только беспокоятся о них. Но это беспокойство вселяет в них дьявола сопротивления. Пусть хуже, но без ваших советов!

Как-то на пароходе мы разговорились с милой девочкой лет пятнадцати, всегда сидевшей в одиночестве на палубе. Оказалось, что она в конфликте с родителями, скучными, респектабельными людьми. И рассказала о себе такое, что мы обсуждали с ней потом несколько дней подряд. Как быстро и многое она поняла! И до сих пор иногда звонит мне, чтобы «еще раз сказать спасибо». Сколько таких одиноких, как она и я. Что сделать для того, чтобы мы могли встречаться и помогать друг другу? Клубы? Их не существует. Кафе? Кто и зачем туда ходит?.. Все торопятся. Боятся одиночества. Бегут на люди. И в толпе испытывают еще большее одиночество, чем раньше.

Мне часто приходится слушать, как люди разного возраста говорят ни о чем. В их разговорах содержатся факты, большей частью общеизвестные. Упоминается о том, что̀ произошло с разными знакомыми. О пустяковых событиях. Иногда — о вещах придуманных, неверных. Но в этих разговорах исчезает самое главное, самое насущное: мысли. О жизни. О том, что нужно сделать, чтобы было лучше.

Много жалоб. Критики. Впрочем, нет, не критики, а критиканства, без желания что-то исправить, понять свое место в событиях и жизни. А вот мы, люди старшего поколения, могли бы помочь. Помочь решительно и безвозмездно. В нас скрыт такой громадный запас возможностей, что не пользоваться им преступление.

...А днем произошло самое обычное событие. Меня поздравил с прошедшим днем рождения один человек. Он спросил, чем я занимаюсь, как себя чувствую. Пожаловался, что ему в работе не хватает именно такого специалиста, как я. Просил приходить на 2—3 часа на работу. Спросил, не могла бы я ему помочь перевести некоторые статьи — он просто не успевает следить за всем.

Современная молодежь стала проявлять к языкам гораздо больше интереса, чем раньше. Но времени и энергии больше чем на один язык, преимущественно английский, у них не хватает. Я же знаю три языка. А читать могу практически на шести. Мои знания необходимы. Без них не могут обойтись.

Я нужна. Вот главное. Как бы я себя ни чувствовала, я буду стремиться ходить на работу. Читать то, что потребуется моему молодому другу. Его делу. Нашему общему делу.

Много ли нужно человеку? Даже очень немолодому?..

ДОЧЬ

Папа, я пригласила тебя сюда, в это тихое кафе, где мы спокойно можем поговорить. Давай сделаем так: я тебе скажу все, что думаю, а ты мне потом ответишь. Ладно? Только просьба: не перебивай меня и по возможности не смотри в сторону. Я понимаю, что тебе это не легко.

Ты знаешь, что для меня ты всегда был кумиром. Самый умный. Самый красивый. Самый элегантный. Самый-самый. Подруги мои были от тебя без ума...

Не удивляйся. Я все знала. С того самого момента, когда у тебя началось с этой женщиной. Извини меня, но иначе я говорить о ней не могу. Понять можно все. Но смотри, что̀ получилось. Я на всю жизнь запомнила мамины жалобы и твои оправдания. Когда ты разговаривал с мамой, я сидела в соседней комнате и слышала каждое слово. Почти каждое. Когда ты шепотом утешал маму, я не могла расслышать слов, но догадывалась, о чем ты говоришь.

Эта женщина немного моложе тебя. Ты старый человек. Она не станет за тобой ухаживать так, как это делала всю жизнь мама. Это твоя лебединая песня. Мама последние годы раздражала тебя. Вы не понимали друг друга. Она давно перестала быть для тебя женщиной.

Можно ли серьезно говорить о твоем счастье? На чем оно зиждется? Поставь себя на минутку в положение мамы. Ты можешь это сделать?.. Она должна ежедневно с работы приходить в пустую квартиру. Она должна просыпаться в пустой квартире. Если бы ты умер, у нее была бы горестная мысль о покойном муже. Но мама ежедневно, ежеминутно думает только об одном: что ее предали.

Вы прожили долгую жизнь. У вас были минуты радости. Были дни огорчений. Но у вас была общая жизнь. И кто из вас сделал друг для друга больше, я не могу сказать. Но ты понимаешь, что маме много лет... Тебе не приходило в голову, что ты, думая о себе и только о себе, проявляешь ужасающий эгоизм. Ты предал самого близкого человека.

Дело не в забвении элементарного чувства благодарности. Дело не в нарушении дружеских уз. Человек может совершать поступки нравственные и безнравственные.

Но сейчас, когда она остается одинокой, ты совершаешь самый безнравственный поступок, который может совершить человек. А как ты прикажешь жить мне? С двумя твоими внучками? Как относиться к Сергею? Ждать каждое мгновение, что и он бросит меня тогда, когда мое тело перестанет его возбуждать, скажет об этом мне, как ты сказал маме?

Ты не имеешь права уходить от мамы. Она тебя сейчас больше ненавидит, чем любит. И все-таки ты не можешь ее оставить.

Не говори мне, что ты любишь ту женщину. Я знаю о ней достаточно много. Я знаю об ее ультиматуме. Она прекрасно знает, чего она хочет. Слишком много раз она лишалась своих мужчин и теперь держит тебя ценой невыразимых страданий мамы. Ты это понимаешь или нет? При чем тут твоя любовь? Это такая же страсть, какая была у меня, когда я в девятом классе убежала к Евгению. Ты мне очень толково все объяснил. И хотя в то время я не поверила ни одному твоему слову, но очень скоро поняла, что ты был прав.

Сегодня тебе предстоит решить, что́ ты получаешь и как за это расплатишься. Но, прошу тебя, имей в виду, что мы с мамой — одно целое. Я — часть мамы. От тебя зависит — потерять или вернуть нас обеих.

Пожалуйста, отвечай мне, смотри мне в глаза. Прямо. Не отворачиваясь.

что нам делать?

У нас будет ребенок. Она была у врача, и он с уверенностью поставил диагноз. Даже не потребовалось никаких дополнительных анализов.

Дядя Оли, когда она ему рассказала, будто беда случилась с ее подругой, ответил, что в семнадцать лет при первой беременности аборт — это преступление. «Пусть рожает». Легко ему говорить, а нам нужно закончить десятый класс и поступить в институт. Мы подсчитали, что роды будут не раньше ноября. Придется сразу уходить в академический отпуск. Но и вступительные экзамены не шутка. Здесь здоровье должно быть, как у боксера. А у девушки — на шестом месяце...

Дайте вспомнить, как у нас с Олей это началось. Когда мы вернулись после летних каникул, я сразу обратил на нее внимание. Она выросла, загорела. Из-за туфель на платформах она оказалась даже выше меня. Впрочем, это ничему не помешало. Потом мы встретились с нею в булочной — родители наши, будто сговорившись, послали нас за хлебом. Мы долго гуляли, и я даже опоздал к обеду. Именно в этот день мы оба поняли...

Потом получилось так, что после дня рождения у Вити Горбунцова мы опять долго гуляли. У него мы первый раз и остались вдвоем... Витькины родители уехали за границу, и проблемы не было.

Что нам маячит? Мой отец твердо когда-то сказал, что если я женюсь, то ни дня дома он держать меня не станет. «Семья становится таковой,— говорил отец,— когда хозяйственные заботы, покупка продуктов, приготовление пищи, химчистка, стирка и все прочее осуществляется руками супругов. Это сближает. Жизнь дома с родителями — это не семья, а любовники на шее у родителей». Старик, конечно, прав. Но ведь нам нужно учиться. Где взять на все время? Дома я выполнял разные просьбы и поручения. Но, откровенно говоря, особенно не старался: всегда есть более важные дела. У Ольги — тесно. В двух комнатах их четверо. Снимать комнату — не потянем. Положение! Того и жди кто-нибудь спросит: «А куда вы смотрели раньше?!»

В школе все идет хорошо. Мы с Ольгой отличники. Теперь это имеет значение для поступления в вуз. Средний балл срабатывает. Много времени отнимает комсомольская работа и в школе и в райкоме... Занятия языком тоже требуют времени. Ольга молодец: она тянет меня, за это время я сделал большие успехи. На встрече с американской делегацией выступал, как положено. Кто больше удивлялся — американцы или наши педагоги — сказать трудно.

Сейчас по телеку будут показывать хоккей. А ребята звали во двор поиграть в футбол... Что делать?

проклятый девятый

Совсем я запуталась.

Еще несколько дней назад мне казалось все совершенно ясным и понятным. Школа мне надоела, и дальше учиться нечего. Нужно пойти на работу, буду занятой, в голову не станут лезть дурацкие мысли. Поговорила с мамой. Она меня обругала. Ну, ладно. Она права. Тогда я решила пойти в школу медсестер. Окончу ее, получу житейский опыт. Поступлю в институт. Стану детским врачом. Почему детским? Люблю ребятишек. Ни сестер, ни братьев у меня нет. А поскольку в свои пятнадцать лет я люблю детей, значит, я или ненормальная, или мне нужно стать детским врачом.

С мамой все тоже ясно. Она ничего не понимает и понять не может. Чуть что — орет, как резаная. Шпионит за мной. Ненавидит меня. Не верит ни одному моему слову. Опоздаю на минуту — скандал. Что со мной случится? Кто меня тронет? Вот взять, к примеру, Мишу. Он на пять лет старше меня. Здоровый. Чемпион по самбо. Конечно, когда мы вдвоем, он кое-что пытается. Но я строго скажу ему — и он руки убирает. Дурачок, не понимает, что мне это тоже приятно. А слушается меня, как маленький. Мама думает про нас черт знает что.

Учусь, конечно, я неважно. Могла бы заниматься хорошо. А зачем? Кому это нужно? Ребят смешить. Зачем тратить время на бесполезное дело. Из класса в класс переводят — и ладно. Дурой меня не считают. Смотреть, как Вера Красильникова зубрит уроки каждый вечер, страдает, если ей четверку поставили, противно.

Бабушка меня обнюхивает, как собачонка. Ах, от тебя табаком пахнет! Ты курила? Ах, от тебя вином пахнет! Ты пила? Когда я покрасила ресницы — а наши девчонки некоторые с шестого класса красятся,— крику было, будто я потеряла сто рублей. Укоротила юбку — целый вечер было обсуждение. Не могу же я им сказать, что нос, который всегда на виду, у меня приплюснутый, хотя, в общем, я миловидная, но ноги — вы меня извините. Они вполне годятся, и брюки я могу поносить в холод.

А сегодня произошла такая история. Ехала я домой на электричке. Были мы на даче у Мишиных друзей, там переночевали. Мальчишки отдельно, девчонки отдельно. Но дома будет буря. Маме я обещала быть, как договорились, около десяти вечера, хотя я знала, что домой не вернусь. Зачем я это сделала — не знаю. Наверное, очень хотелось поехать с ночевкой, а мама все равно не отпустила бы.

Уехала я одна. Проснулась рано. Солнышко светит. Все еще спят. Подумала я, что мама волнуется. Пошла на станцию. Позвонила. Дома никто не отвечает. А тут электричка подошла, пустая. Я и поехала...

Вагон был совершенно пустой, я села лицом по ходу движения, чтобы смотреть вперед. Люблю глядеть в окно: мелькают деревья, луга, домики. Кажется, что едешь куда-то далеко-далеко и не вернешься домой. В последний момент, когда двери зашипели, в вагон вскочил мужчина. Вначале я его не разглядела. Высокий, худой, в темных очках.

Седоватый. Хорошо одетый, даже по моде. Брюки расклешенные, рубашка в полоску. Лет ему... не поймешь. Такому может быть и тридцать и шестьдесят. Он подошел к лавке, где я сидела, и сказал:

— Здравствуйте. Разрешите здесь сесть, прекрасная девица...

— Вагон пустой, садитесь, где хотите.

— Если вам неприятно, я могу сесть на другое место. Но мне кажется, что мы можем скоротать дорогу в приятной беседе,— сказал он,— тем более, что вам есть о чем мне рассказать...

Вначале было непонятно, говорит он серьезно или шутит. Но он снял очки («Вот тебе и на,—подумала я,— а глаза-то голубые») — и улыбнулся какой-то детской улыбкой.

— Почему вы думаете, что я стану что-то рассказывать? — спросила я его.

— А как же иначе? Давайте я что-нибудь расскажу вам, а потом вы мне. Не заметим, как приедем в Москву.

Так оно и оказалось. Когда в окне показался шпиль университета, я чуть не заплакала от злости. Хоть бы поезд повернул куда-нибудь в сторону или сломался.

Разговор начался с того, что он мне заявил:

— Вчера вы поздно легли. Не выспались, выпили вечером чуть больше того, что следовало, и на душе у вас не очень сладко...

У меня глаза на лоб полезли. Наверное, знакомый или сосед по даче.

— А почему вы меня назвали девицей? — спросила я его.

Он очень серьезно ответил:

— Это красивое старое русское слово. Вспомни, у Пушкина — «Царь-девица». А совсем не то, о чем ты подумала. Про таких говорили в старину просто «гулящая». К тебе это никакого отношения не имеет. Ты совсем не такая, хотя и с фокусами.

«Веселенькая история,— подумала я. И это он тоже знает». Кстати, я сразу и не заметила, как мы перешли на «ты». Вернее он перешел, но как-то просто и не обидно. Может быть, он сразу не разобрался, что я не студентка, а школьница, а тут раскусил.

Разговор был смешной. Получилось так, что он задавал мне вопросы, и я постепенно рассказала ему все то, с чего я начала. О школе. Маме. Бабушке. Мише. О девятом классе. Ну, он мне и выдал же информацию! У меня до сих пор голова гудит.

— Ты славная девица, но балда порядочная. По вопросу мамы. Тебе очень трудно. Но напрягись и постарайся поставить себя на ее место. Кстати сказать, это не так и трудно. Через несколько лет у тебя будет собственная девица. А пройдет еще несколько лет, и она начнет болтаться по парадным и друзьям, а ты будешь звонить в больницы и морги. Думаешь, весело?!

В этот момент мне почему-то вспоминалась дурацкая песенка, которую на маге прокручивали у Миши.

А погодка превосходная,
Провожу тебя охотно я.
Место самое отрадное —
Наше темное парадное.

И дальше совсем нескладное. Но в общем-то про меня.

У тебя глаза раскосые,
Жадно смотрят дяди взрослые.
А фигурка мировецкая —
Позавидует Плисецкая.

Да. Так я отвлеклась, а мой собеседник продолжал.

— Мать любит тебя безумно. Так, как должна любить каждая мать. Вероятнее всего, она в тебе видит себя. Со всеми достоинствами и особенно недостатками. Она просто волнуется и переживает. И, к сожалению, не умеет от тебя этих чувств скрыть. Никакого шпионства нет. Никакой ненависти нет. А что касается доверия, его нужно заслужить. И тебе это ничего не стоит. Но начать нужно с другого конца. Заставить тебя никто не в состоянии...

Здесь я его перебила:

— Ничего подобного! Вот бабушка, например...

Но он не дал мне договорить:

— Насчет своей бабушки не морочь мне голову. Я и тебя и твою бабушку насквозь вижу. Она еще добрее мамы. Когда тебе достается от мамы, ты бежишь плакаться к бабушке; она тебя пригревает, и ты опять в полном порядке.

— Что значит «в порядке»? — спросила я с возмущением.

— Очень просто: пользуешься несогласованностью в действиях родственников. Излюбленный прием подростков в последние двести тысяч лет. Вы играете на противоречиях, спекулируете этим и проводите свою линию. Сам был такой. Помню!

Что я могла ему на это ответить?

— Относительно школы ты тоже все основательно напутала. Демагогия пятнадцатилетних общеизвестна.— («Вот тебе и нá — даже год рождения угадал. Я была уверена, что выгляжу самое меньшее на семнадцать!») — Вы обладаете способностью перепутать местами причину и следствие, выдумать вздорную предпосылку. И, исходя из нее, накрутить такие турусы на колесах, что даже опытному адвокату ваша аргументация покажется убедительной. Это уже было. Это мы уже проходили.

— Скажите, пожалуйста, а вы не преподаватель? Или специалист-психолог?

— Ничего подобного. Просто у меня сын и дочь. Теперь они уже выросли. Но в свое время я с ними порядком хлебнул. Недаром чехи считают, что полная семья — это когда в ней и сын и дочь. А два сына или две дочери не считается. У меня есть твердое убеждение,— продолжал мой спутник,— что уход из школы свидетельствует об отсутствии воли, о каше в голове или недостатке способностей. Но самое странное, что школу неспособные, как правило, не бросают...

— Как это так? Вот так новости!

— Очень просто. Неспособные обычно наделены сильной волей. Благодаря ей они проявляют чудеса настойчивости, трудолюбия и достигают вершин, которые порой не снятся людям талантливым. Школу бросают несобранные, распущенные ребята, ленивые, с нетренированной волей. К сожалению, многие весьма способные. Это и обидно. Понятно?

Опять я отвлеклась. С ним мне было очень интересно. Он говорил о самых обычных вещах, но они получались вывернутыми наизнанку. Или это они у меня были в голове вывернуты, а он их просто ставил на свое место?

— Когда ты говоришь, что сбежишь из девятого класса, то это ты не из класса бежишь, а пытаешься спрятаться от самой себя. Номер не пройдет! Жизненного опыта у тебя уже сейчас хватит на трех девиц моего времени. А из медсестер попасть в институт в десять раз труднее, чем из школы. Хочешь поступить? У тебя впереди еще два года. С Мишей вопрос тоже прост, как стекло. Дружба у вас хорошая. Мама этого не знает. Но пойми, откуда ей знать о его намерениях?

— А какие у него могут быть намерения? Друзья мы — и конец. Нечего и подозревать нас...

— Почему нечего? Он что у тебя, каменный или железный? Обнимать тебя ему приятно, и тебе тоже. Правда? А вообще-то рановато. Не смей мне говорить, что из ваших девчонок столько-то живет с мальчиками, а столько-то сделали аборты. Эти разговоры не для тебя. Будет восемнадцать лет — выйдешь за него замуж...

— А я и не собираюсь замуж. Мне это ни к чему...

— Сейчас ни к чему. А потом будет к чему. Хочешь, расскажу тебе о своей дочке? Она в десятом классе решила выйти замуж. Я, естественно, на дыбы: «Вначале поступи в институт. Исполнится восемнадцать — выходи!» Зол был ужасно. Потом понял, что, кроме формальной правоты, мной руководила элементарная мужская ревность. Удивляешься? И зря. Отец — обычный мужчина и не может не ревновать свою дочь. Когда я сам это понял, то поделился с ней своим открытием. Знаешь, она мне что сказала? «Ты, папа, должен радоваться, что я буду жить с одним мальчиком. Другие девчонки их меняют!» Логика железная. Поэтому ты не очень торопись. В пятнадцать лет, бывает, аборты делают, но для здоровья это плохо. Кстати, с матерью ты будь поласковее. Думаешь, ей легко без отца за тобой смотреть? Одни туфли и замшевая юбка — целая проблема. Ты об этом думаешь? Если тебе мать удастся сделать подругой, жизнь радостнее станет обеим. Думаешь, ей много нужно? Устрой с ней игру. Скажи ей: «Мамочка, вот я тебе расскажу про одну свою подругу...» — и говори ей все про себя. И ты и она будете знать, что это о тебе. Но вида не подавайте. Это прекрасная игра. И будь точной. В жизни тебе это очень пригодится. Сказала «в девять» — разбейся в лепешку, а в девять будь на месте. Уверяю тебя, что девяносто процентов конфликтов исчезнет. А твои подружки, Миша и другие ребята тебя только зауважают. Они сами бы так хотели, да не могут. Ни силы, ни ума у них не хватает. А у тебя хватит.

...Обсудили мы много вопросов. Про мой нос. Очень важно. Хотя и не идеальный, но никакой трагедии нет. Насчет юбок: когда, какой длины носить и почему. Наверное, он прав, что учителей дразнить не следовало. В жару в брюках, конечно, ходить неразумно, даже в импортных джинсах. Но с институтом я так и не разобралась: чего не хватает — воли или способностей. Насчет дома, если говорить откровенно, нехороший я человек, свинья порядочная. Когда он стал спрашивать меня, что я делаю по дому, то в ответ я начала плести о своих громадных обязанностях, а результат получился плачевный. Мне было сказано, что более примерной дочери и внучки планета Земля еще не рождала.

В общем, дело не так уж плохо. Осенью пойду в свой девятый, проклятый... До чего я соскучилась по девочкам!.. Хоть бы скорее осень...

перед сном

Совсем не хочется спать. Подушка горячая. Сейчас я ее переверну, и она будет опять холодная. В щелочку из-под двери виден свет, и ничуть не страшно. А на стенке полоска света. Мамочка шторы не совсем закрыла.

Сегодня получилось очень смешно. Папа сказал: «Аленка уже знает буквы. Прочитай, пожалуйста, что здесь написано». А я громко стала читать: «Пе, эр, а, ве, ды...—и как закричу: «Вечерняя Москва»! Все засмеялись. А мамочка огорчилась и сказала: «Торопыга ты у нас, вот кто».

Кто это такой сидит на стуле? Носик, ушки. И одна лапка... Он сейчас как прыгнет! Я его боюсь. Позвать маму?.. Ничего страшного нет. Лежат на стуле мои вещи. Торчат в разные стороны. Никто там и не сидит. Лучше бы уж сидел кто-нибудь — мягкий, пушистый.

Почему они не хотят заводить кошку? Или собаку? Или мышку? Папа говорит: «Кто за ними смотреть станет, кормить, ходить на прогулку?» Плохо, что у нас нет бабушки. Водят меня в детский сад. Не хочется туда ходить. Особенно утром не хочется. А днем там хорошо. Только Витька ужасный мальчик. Он все время толкается. Кричит. Он про все знает. Задавала.

Трудно мне петь. Слова я забываю. Сбиваюсь. Ирина Васильевна добрая. Шутит и смеется. Говорит, что можно нас в хор брать.

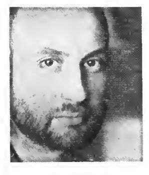
Завтра мы пойдем в гости к дяде Васе. Почему я люблю его? Он разрешает все смотреть и трогать все. Говорит мне: «Моя старушка». Потом, не заставляет ничего есть. «Не мучайте бедного ребенка — пусть сам решит, что ему хочется. Он же умный. Не станет есть одно сладкое. Правда, ребенок?» — и так хитренько посмотрит. Не пойму, почему в гостях всегда вкусно? Даже каша. Даже хлеб другой. Люблю ходить в гости. Он всегда дает мне бумагу, фломастеры, и я рисую картинки. «Это прекрасные изображения! — говорит дядя Вася и прячет их к себе в шкаф.— Когда ты вырастешь, мы будем их рассматривать с большим интересом».

Когда я вырасту, я буду, как мама,— красивая, добрая. От меня будет пахнуть, как от мамы, духами и чем-то теплым и вкусным. Я буду такой веселой, как папа. Только не буду приставучей и не стану хватать на руки, когда человеку этого совсем не хочется.

Мама и папа будут всегда со мной и никогда не умрут. А подушка опять стала горячая. Почему люди никогда вечером не хотят спать? А по утрам никогда не хотят вставать? Как было бы хорошо, чтоб вечером можно было совсем не спать. А утром не торопиться вставать, как в воскресенье. За дверью папа говорит: «Пусть девочка поспит себе». А мама скажет: «Так она может и до обеда проспать». А я уже и не сплю вовсе...

Хоть бы скорее вырасти и стать большой. А то я все маленькая и малечькая. И вчера была маленькая и завтра...

Вадим Ковда



✪

Вид лесов, что локоем ломечен,
вид зеленых н жептых лолей
так же чист, лервозданен н вечен,
как лицо милой мамы моей.

Этн воды, что льются неспешно,
эта в зелени тихой река —
так же ласкова, так же утешна,
как моей старой мамы рука.

Эта лтица, что ло небу бьется,
в скорбном крике крыпамн дрожа,
надо мной так же плачет и вьется,
словно мамы умершей душа.

На Оби

Как бревенчато и косо.
Тихо. Вылала роса.
Запах лиленого теса
залолняет небеса.

Нежный, лрибранный, румяный,—
от светла и дотемна,—
городишко деревянный,
дровяная сторона.

Хмурый дед в косоворотке
с черной лрядью в бороде.
А кругом все лодки, лодкн —
на земле и на воде.

Бесконечна, с белизною,
светло-серая во мгле,
Обь лежит лередо мною,
словно небо на земле.

Облака ллывут, как духи,
окна смотрят на леса.
На завалннках старухи
щурят белые гпаза

и в немой закат над Обью
лесни ясные свои
стонут, лолные любовью,
плачут, лолные любви.

✪

Где мне набрать ума н снлы,
какого лобедить врага,
так, чтоб душа лером воднпа,
а не пукавая рука!
В какой безжалостной погоне
до самого себя дойти,
чтоб то, что есть во мне сегодня,
не задохнупось взалерти!

Хроникер

Не топько Фауста тревожит
мгновенний быстротечный ряд.
Остановить мгновенье может
синхронный киноаппарат.

Я благодарен хроннкеру,
который в суете сует
мгновенья повит, из которых
восстанет нстины портрет.

И снова должен ловториться
тот мнг, скользнувший, как напнм.
Ах, боже мой, то нашн лица
н голос наш — он бып таким!..

И что ж! Когда текли мгновенья,
я как-то так, ло гпухоте,
не лроявлял бопьшого рвенья
остановнть мгновенья те,

цветастой мелочи в угоду
о самом гпавном забывал,
и только после, через годы
я те мгновенья призывал.

Рад хроникеру локпонипться.
Высокий смысл в его труде.
Мгновенье может ловториться,
да только мы уже не те.

Как плавно при пюбой погоде
мы провожаем каждый миг
и все уходим, все уходим,
уходим от себя самнх.

Птица

Что ты там напеваешь! Про что!
И с чего бы все это веселье!
Под твоей залнхватскою трепью
Я гуляю в осеннем пальто.

Все лриемлет мой горестный ум,
Но сейчас разобраться охота:
Коль ты счастлива, что ж я угрюм!..
Ведь одна нам н та же погода.

Ты мала. Ты мала н глупа,
Ничего ты, ло сути, не можешь.
Ты — природы слуга и раба.
Ты в мороз свою гопову сложишь...

Бьется радость на птичьих устах...
Тру свое утомленное веко:
Отчего она счастлива так,
раз слабей и глупей человека!

Егор
ЯКОВЛЕВ

ВЗРЫВ

По сообщению Всероссийской чрезвычайной комиссии, из Петрограда получены сведения о том, что агенты Колчака, Деникина и союзников пытались взорвать в Петрограде станцию водопровода. В подвале были обнаружены взрывчатые вещества, а также адская машина, которая была особой командой взята для уничтожения, но преждевременным взрывом убит командир отряда и ранены 10 красноармейцев.

Совет Обороны предписывает призвать к бдительности всех работников Чрезвычайных комиссий и о предпринятых мерах довести до сведения Совета Обороны.

Председатель Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин)»

Написано 1 апреля 1919 г.
Напечатано 2 апреля 1919 г.
в газете «Известия ВЦИК» № 71.

Как развивались события на водопроводной станции? Что известно о командире отряда особой команды, который погиб от преждевременного взрыва? Кем был он? Как звали его?

Разыскиваю документы в Ленинградском архиве Октябрьской революции, листаю старые газеты в Публичной библиотеке; друзья-журналисты помогают мне встретиться с теми, кто пережил в Петрограде весну девятнадцатого года.

И вот имя не просто свидетеля, а самого непосредственного участника тех далеких событий. Узнаю адрес. Отправляюсь на окраину Ленинграда.

Дом совсем новый, свежей салатной краской покрыты стены, и ребятня не успела еще разрисовать их. А убранство квартиры, в которую я вхожу, переносит в былое: старая мебель, на стенах пожелтевшие портреты с тиснеными вензелями хозяев фотозаведений, в которых они когда-то были сделаны. На комоде никелированная металлическая копилка с надписью на крышке «Накопление — путь к богатству».

В недавно появившемся на свет доме заключено далекое прошлое — и, пожалуй, это во многом отвечает моему состоянию: из нашего сегодня я все больше погружаюсь в минувшее.

...Холодная мартовская ночь навсегда скрыла тех, а быть может, того, кто, минуя патрули, прокрался по набережной, тенью метнулся к воротам, проник незамеченным к машинному отделению и фильтрам, подложил взрывчатку. Когда в предрассветной мгле грохнул взрыв, преступник мог смешаться с прибежавшими на станцию или был уже далеко.

Могло быть так или иначе. Но взрыв произошел. Это случилось 30 марта девятнадцатого года на водопроводной станции Петроградской стороны — Заречной.

«Красная газета» печатала по этому поводу стихи:

Лишить миллионный
Город воды
Взрывами водопровода.
Вот их труды —
Врагов революции и народа!
С преступлениями такого
Рода
Речь одна —
Стена!
Один разговор —
Смертный приговор.

В эти дни всюду публиковалось предупреждение Всероссийской Чрезвычайной Комиссии: «Москва, 1 апреля (РОСТА), от Председателя ВЧК. Ввиду раскрытия заговора, ставившего целью посредством взрывов, порчи железнодорожных путей и пожаров призвать к вооруженному восстанию против Совет-

ской власти, ВЧК предупреждает, что всякого рода выступления и призывы будут подавлены без всякой пощады. Во имя спасения от голода Петрограда и Москвы, во имя спасения сотен тысяч невинных жертв ВЧК принуждена будет принять самые суровые меры наказания против тех, кто будет причастен к белогвардейским выступлениям и попыткам вооруженного восстания. Председатель ВЧК Дзержинский».

Петроград в первые годы революции английскому писателю Герберту Уэллсу представился городом, погруженным в пучину бед: «Поразительно, что цветы до сих пор продаются и покупаются в этом городе, где большинство оставшихся жителей почти умирают с голоду и вряд ли у кого-нибудь найдется второй костюм или смена изношенного и залатанного белья».

В этом городе жили люди, и нужны были цветы. Их подносили новобрачным. «Николай Афанасьевич и Ирина Аникеевна Афанасьевы просят Вас пожаловать на бракосочетание сына их Василия Николаевича с Елизаветой Семеновной Федоровой, имеющее быть в церкви ремесленного училища, а оттуда для поздравлений Петроградская сторона, Саблинская улица, № 10, кв. 56». Жених, помощник коменданта третьего подрайона революционной охраны Петроградской стороны явился на бракосочетание в куртке и галифе из желтой скрипящей кожи.

Были похороны, и нужны были цветы. Их положат на гроб того, кто сохранил от разрушений водопроводную станцию, и на могилу тех, кто расследовал это преступление...

На рассвете, по истечении комендантского часа, кого-то отпускали подобру-поздорову, других арестованных увозили под конвоем в Центральную комендатуру либо в Кресты, третьи обживали камеру предварительного заключения. С наступлением утра сменялись бойцы революционной охраны. Комендант третьего подрайона революционной охраны Петроградской стороны Рудольф Карлович Лепник и его двадцатидвухлетний помощник Вася Афанасьев устраивались на диванах у себя в кабинетах. Засыпали быстро, поднимались с первым телефонным звонком.

Обязанности комендатуры подрайона: нести службу постовую и патрульную, арестовывать и привлекать к суду за нарушение порядка — по большинству своему исполнялись с наступлением темноты. В течение дня комендант и его помощник готовились к ночи, решали, какие проходные дворы перекрыть засадами, какими маршрутами пустить патрули, где и когда встретиться с агентами, на какие «малины» обрушить облавы.

Днем работники охраны выгребали мусор, мокрыми тряпками стирали серый, как бессонница, налет грязи с широкой мраморной лестницы, ведущей на второй этаж. Окна двухэтажного дома, в котором располагалась комендатура, распахивались настежь — проветривали помещение.

Ночью по всем комнатам вновь расползался липкий смрад пивной и вокзала. Ночью в комендатуре кричали, ругались, грозили, бились в истерике и хохотали, требовали, плакали, доказывали, просили. Среди ночи появлялись люди в нижнем платье потому, что верхнее им помогли снять грабители. Чины охраны ехали к месту очередного происшествия — убийства, грабежа, насилия.

Была суббота, Лепник и Афанасьев решили усилить патрули и посты, а особых облав в эту ночь не устраивать — в воскресенье работы хватит.

Лепник сидел за массивным столом с распахнутой крышкой бюро. Ростом он был невелик, но зато с лихвой набрал в плечах. Пышные усы по-запорожски спускались к подбородку. Одет был в старый китель, из-под расстегнутого ворота выглядывала черная ситцевая рубаха.

Василий Афанасьев стоял, опершись о край открытого бюро. Худой, узкий в плечах, с резко очерченной талией, он был весь устремлен вверх. Мягкие светлые волосы распадались на прямой пробор, яркий румянец, который не могли стравить ни бессонница, ни голодуха,— все это вызывало желание у тех, кто встречал помощника коменданта, называть его не иначе, как Васенькой. Не прибавлял солидности помощнику коменданта и костюм из желтой кожи. Был он таким новеньким, таким скрипящим, что Афанасьев казался в нем еще моложе.

— Вот что, Афанасьев,— обратился Лепник,— шагай-ка ты домой, пока жена о пропаже не заявила. Ночь без тебя отдежурю.

Недавняя женитьба Афанасьева, постоянная разлука, в которой пребывали молодожены,— опять четвертые сутки пошли, как помощник коменданта домой не заглядывал,— все это было поводом для бесконечных ухмылок, шуток. Наслушавшись их, Рудольф Карлович предпочитал помалкивать о том, что и сам недавно женился: и месяца не прошло, как перетащил холостяцкие пожитки на Васильевский остров к молодой жене. Впрочем, такое долго не скроешь. Всякий раз, отлучаясь из комендатуры, он называл дежурному свой новый адрес. К тому же вызывали на днях в Центральную комендатуру, велели анкету заполнить [1]. На этот раз в графе «семейное положение» вместо привычного «холост» Рудольф Карлович написал — «женат». Не сегодня, так завтра станет об этом известно и в подрайоне.

Завтра — это воскресенье, 30 марта, 1919 год. И другого завтра у коменданта подрайона уже не будет, оно последнее. Что делали, как поступали бы люди, будь им наперед известно, сколько осталось им в жизни лет, дней, минут?..

— Тебе костюм твой нынче нужен? — нарочито безразличным тоном спросил Лепник.

— А что? — насторожился Афанасьев.

Во время разговора комендант поглядывал на кожаный костюм как-то недовольно, словно не одобряя, и Вася это заметил. «Чего ему недовольным быть, костюм я за примерную службу получил не в этом подрайоне, а в другом — Рудольфу Карловичу не на что обижаться».

— Тебе не потребуется, так мне до воскресенья оставь. Ночью поеду посты проверять, если все спокойно будет, так, может, и загляну здесь к одной...

Одалживать костюм, даже своему начальнику, Васе страсть как не хотелось. Но, что поделаешь...

— Возьмите, Рудольф Карлович. Я же все одно его в комендатуре оставляю, домой в нем не хожу.

Афанасьев собрался уходить, когда заглянул дежурный, доложил, что прежний комендант просится на прием.

— Опять Василий Никитович пожаловал. Пускай

[1] Из анкеты коменданта 3-го подрайона революционной охраны Петроградской стороны Лепника Рудольфа Карловича: год рождения 1892, 1 мая; уроженец Лифляндской губернии, Венденского уезда, Ляудонской волости; отец — 52, мать — 49 лет; образование — 4-классная гимназия; в 1913 г. при родных в деревне, в 1914 г. на военной службе, в 1915—1916 гг. тоже, в 1917 г. до Октябрьской революции — тоже, после Октябрьской революции — Гдовский Совет, в 1918 г. до поступления в охрану — Василеостровский Совет, член Совета; в охране с 1 октября 1918 г.; коммунист, Российская коммунистическая партия (большевиков), билет № 74, выдан Петроградским районом.

заходит,— распорядился Лепник.— Ну-ка, задержись, Афанасьев, посмотри, кто здесь до нас делами заправлял.

Тон, каким были сказаны эти слова, не предвещал ничего хорошего. И все равно, увидев Василия Никитовича, Афанасьев невольно поежился: к такому на допрос попасть — врагу не пожелаешь. И дело было не только в разлапистой походке, бычьей шее. В каждом движении бывшего коменданта: как в кабинет вошел, как на Лепника взглянул, а Васю просто не заметил — была такая властность, что никто и ничто поперек не встань. Стенка окажется, так и ее скорее всего башкой прошибет.

— Попрощаться зашел, комендатура, чай, не чужая. В Москву уезжаю, там меня назначение ожидает не в пример питерскому...

Последнюю фразу Василий Никитович так и не закончил, желая, видно, чтобы спросили его, о каком назначении идет речь. Рудольф Карлович, однако, никакого интереса не проявил. Помолчав, посетитель заговорил вновь.

— Слушай, товарищ Лепник, нужен мне документ, что состоял я в революционной охране, был комендантом подрайона.

— Будто мы с тобой прежде не говорили. Я же тебя, Василий Никитович, в Центральную комендатуру посылал. А от меня можешь только одного документа дождаться.

— Какого?

Лепник покопался в бумагах, обнаружил папку, одним взглядом сверился с ее содержимым и сказал, не торопясь, чеканя каждое слово, словно и правда справку выписывал:

— С 1 августа по 2 октября 1918 года Василий Никитович являлся комендантом 3-го подрайона революционной охраны Петроградской стороны. Уволен за избиение заключенных.

— А без таких подробностей никак не обойдешься? Был комендантом — и дело с концом.

— Совесть не позволяет.

— Вы меня и вправду за контру держите, коль я той сволочи пальцы в двери прищемлял?

— И зубы вышиб.

— Велико ли дело — бандюге ряху намылил.

— Революция нам карающий меч доверила, а вы до мордобоя опускаетесь, — вмешался Вася Афанасьев.

Наконец-то Василий Никитович и его заметил.

— Ты, парень, в театр сходи, там за такие выступления неплохую деньгу отвалнвают. А здесь-то накой слова произносить. Вас сюда политику проводить поставили, а вы про совесть толкуете. Да когда же это было, чтобы политика и совесть в дружбе находились? Коль уж до политики дошло — тут для совести и темного уголка не найдется. Совесть! Ты бы лучше у коменданта Крестов расспросил, как он за Охтой приговора в исполнение приводит. Тоже политика — только по ночам и без лишних свидетелей совершается. А коль есть такая, значит, и люди нужны, которые проводить ее умеют, а не только слюни пускать.

Лепник давно уже так сжимал кулаки, что ногти глубоко вошли в мякоть ладоней.

— И нечего тебе кулаки сжимать. Меня бы застрелил сейчас за милую душу.

— Напрасно, Василий Никитович, изводить меня взялся. Терплю, терплю, а все до края. Я сюда не с печки спрыгнул, после четырех лет войны пришел.

— Да не стращай меня, не испугаешь. Ладно, давай документ, которым грозился,— уволен, мол, за избиение заключенных.

— На что же тебе такой документ?

— А я почем знаю. Сейчас вроде бы и ни к чему, а все-таки пускай лежит, вдруг когда-нибудь пригодится. Ты и такой документ выдавать не хочешь?

Низко склонившись над столом, Лепник принялся выписывать справку.

В третьем часу утра словно отрезало: замолчал телефон, не тревожили комендатуры — ни районная, ни Центральная, перестала хлопать дверь внизу, затихла перебранка подле дежурного. Лепник научился без ошибки, не теряя ни минуты, улавливать тот перелом, за которым начинает спадать лихорадка ночной работы. Он тут же сбежал вниз, сказал дежурному:

— Поеду посты проверю. Задержусь — посылайте Большой проспект, 91б, квартира 10. Понял?

— Понял, товарищ комендант.

И вдруг, неожиданно для себя, Лепник рассмеялся.

— А что понял-то?

— Если задержитесь, так Большой проспект...

Сырой холодный ветер, прихваченный ночным морозцем, натянул на мостовые наледь. Комендант хоть и с трудом, но удерживался в седле: шины скользили, словно коньки. Он и в самую лютую зиму, несмотря на снег и лед, передвигался по городу на велосипеде. Комендант ехал проспектом, сворачивал в улочки, вглядывался в черные ямы дворов, встречал патрули, слушал доклады постовых, отдавал распоряжения — исполнял все, что и полагается исполнять руководителю комендатуры. А мыслями Рудольф Лепник весь безраздельно был уже на Васильевском острове, в комнате, которая стала его домом, был вместе с нею.

Она сразу открыла дверь. Волосы гладко причесаны, коса уложена в пучок, у блузки даже верхняя пуговица застегнута. Приди он не сейчас, а еще через несколько часов, она бы так и сидела, не позволив себе прилечь. Рудольф знал об этом, волновался, задерживаясь, гордился и радовался при каждой встрече. Но сегодня мелькнуло и сожаление: ему хотелось увидеть ее с распущенными волосами, разомлевшей от сна. Но время это еще не настало для них, они стесялись друг друга. Для них не настало еще время естественной откровенности жены и мужа и никогда не настанет — у них ничего не было, кроме этой ночи, да и не ночи, а минут каких-то, выкроенных для жены комендантом революционной охраны, который поехал проверять посты...

Конечно же, Рудольф пробыл дольше, чем полагал, и теперь торопился в комендатуру. Он скорее почувствовал, чем заметил, какое-то движение на улице, а потом увидел тень: отделившись от стены дома, человек одним прыжком миновал проем ворот.

— Стой!

Тень вновь появилась в проеме ворот, могло показаться, что человек остановился, нет, замер на долю секунды и прыгнул во двор. Поравнявшись с воротами, Лепник поспешно соскочил с седла. Всматривался в предрассветный туман, окутавший двор, и ничего не видел. Двор уходил вниз, был, очевидно, проходным, и, минуя его, можно оказаться на набережной Невы.

Комендант так и не вошел во двор, не вынул оружие, не стал преследовать неизвестного. Лепник не испытывал страха; им овладела какая-то безотчетная слабость, то минутное безразличие к окружающему, которое испытываешь порой после того, как долго и пристально всматриваешься в самого себя.

Проехав квартал, комендант свернул за угол, спустился к Неве. Вдали, на том берегу реки, светился огонек — водопроводная станция Петроградской стороны.

Рудольф Карлович так и не узнал, что значила в его судьбе эта промелькнувшая тень. Задержки ко-

мендант неизвестного, быть может, не произошло бы то, чему суждено было случиться спустя пару часов. Быть может.

Если пустить кинокадры вспять, если дать обратный ход кинопленке, на которую успели заснять, как поднялся, рванулся вперед боец и упал, сраженный пулей... Тогда поднимется погибший, проделает обратный путь, невредимым вернется в окоп. Так бывает в кино и никогда не происходит в жизни. Никогда, никогда уже не поднимется погибший боец.

Как любим мы это «если бы» — и в жизни своей и в истории. Любим пускать минувшее вспять. Вот если бы не делать этого шага, если бы знать, к чему все приведет, если бы раньше поняли люди, если бы... тогда бы не случилось, не произошло то, что произошло. Но что было, то было. И никакие «если бы» не могут ни вернуть, ни исправить, ни переделать.

В тот день, о котором идет здесь речь, все могло бы произойти иначе — если бы, если бы, если бы... Но из всех вариантов торжествует лишь один — тот, который был на самом деле.

В воскресенье 30 марта в Москве на XII заседании Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета предстояло избрать Председателя ВЦИК.

В Петрограде 30 марта, как сообщала газета «Северная коммуна», «рано утром на городской водокачке раздался взрыв».

Два здания красного кирпича, фильтры и машинное отделение сходятся углом, оставляя лишь узкий проход. Здесь взорвалась бомба. Волна вышибла стекла, контузила машиниста. Грохот взрыва вырвался из замкнутого пространства, пронесся над Невой, перевалил на другой берег, разбился о низко нависшее над городом набухшее серое небо.

Лишить миллионный
Город воды
Взрывами водопровода,
Вот их труды —
Врагов революции и народа!

Первым из комендатуры выбежал Лепник, вскочил на велосипед. Шофер заводил грузовик, бойцы прыгали в кузов. Они отъехали от комендатуры, когда Рудольф Карлович был уже возле моста.

Афанасьева разбудил телефонный звонок.

— Взрыв на Пеньковской улице, на водопроводной станции. Комендант приказал срочно прибыть.

Василий выбежал из дома. Пустая улица — ни извозчиков, ни машин. Пустился бегом.

Открытый легковой автомобиль перевалил через мост, въехал на Петроградскую сторону, остановился подле дома, который именовали по привычке особняком Брандта, хотя хозяев его давно и след простыл. В пустующем особняке обосновались большевики, жили там коммуной. Состоял в ней и комиссар городских хозяйств Михаил Иванович Калинин и его заместитель Иван Ефимович Котляков.

Приехавшие стучались недолго. Дверь распахнул Котляков.

— Беда, Иван Ефимович! Заречную станцию взорвали!

Со второго этажа сбежал Калинин. Раздет по пояс, полотенце через плечо.

— Подожди. Я сейчас.

Все они торопились к месту взрыва.

Лепник приказал оцепить станцию. Он же доложил Калинину свои опасения: одной бомбой здесь может дело не обойтись, расчет и строится на том, чтобы после первого взрыва собралось побольше народа. Котляков начал осматривать двор. Калинин и Лепник спустились в машинное отделение...

...XII заседание Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета открыл секретарь ВЦИК Енукидзе. Две недели назад скончался Председатель ВЦИК Яков Михайлович Свердлов. Какие будут предложения о кандидатуре нового председателя?..

В сыром полуподвале гуляли сквозняки. Калинин поежился от холода. Лепник шел впереди. Остановился, наклонил голову, словно прислушивается к чему-то. Калинин подошел к нему. Тоже прислушался. Было слышно, как работает часовой механизм. Бомба лежала под машиной. «Так-так-так»... Работает часовой механизм, и кажется, что уже кровь стучит в висках, подчиняясь этому ритму...

...Кандидатуру Председателя Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета выдвигает большевистская фракция ВЦИК. Слово берет Ленин:

— Товарищи! Найти настоящего заместителя товарищу Якову Михайловичу Свердлову — задача чрезвычайно трудная. ...Кандидатура такого товарища, как товарищ Калинин, должна бы объединить нас всех... Вот почему я позволю себе рекомендовать вам эту кандидатуру — кандидатуру товарища Калинина...

Работает, пока еще работает, часовой механизм. Так-так-так. Будто раскалывает время. Два решения, два поступка. Между ними черта — по одну сторону все, что было прежде, по другую то, что произойдет сейчас. Рудольф Лепник нагибается. Опускает руки под машину. Берет бомбу. До двери восемь шагов. Дверь. Выбегает во двор. Всюду люди. Узкий проход между домами. Впереди показался Котляков. Кто-то бежит рядом. Кто-то кричит, умоляет бросить бомбу в канализационный люк. Всюду люди. Успеть. Добежать до Невы. Бросить бомбу в Неву. Успе...

«...собрание приступает к выборам нового Председателя ВЦИК. Единогласно, под дружные аплодисменты тов. М. И. Калинин избирается новым Председателем ВЦИК»,— сообщали «Известия ВЦИК».

Василий Афанасьев вбежал в распахнутые ворота станции, и — взрыв. Его швырнуло назад, на набережную, он упал. Поднялся и снова бросился вперед. Посреди двора лежал Лепник, широко и свободно разбросав руки. Такой знакомый Афанасьеву кожаный костюм был изодран в клочья, по ярко-желтому глянцу струилась кровь.

— Рудольф Карлович!

Лепник не отвечал: то хрипел, то снова замолкал. Афанасьев увидел Калинина. Он помогал нести к машине контуженного взрывом Котлякова.

Лепник пришел в себя, когда его укладывали на телегу.

— Куда везти собрались?

— В Петропавловскую больницу.

Помощник коменданта продолжил осмотр станции. Черную со скосом коробку, отдаленно напоминающую телефонный аппарат, он увидел в небольшом углублении, наскоро выкопанном под домом.

Афанасьев наклонился. Поднял бомбу. Вытянул руки, стараясь держать подальше от себя этот жуткий груз.

— Ложись! — крикнул бойцам оцепления и пошел к воротам.

Шел ровно, твердо ставя ногу и так же твердо делая следующий шаг. Шел, подавляя желание броситься бегом, стараясь убедить себя, что, пока он спокоен, ничего не может, не должно случиться. Ступал по тому месту, где несколькими минутами

раньше взорвался Лепник, старательно обходя лужу густой, не уходящей в землю крови.

Склонился над парапетом и разжал руки. Бомба мягко упала в наметанный на льду сугроб.

Афанасьев вернулся на станцию, надеясь, что больше ничего уже там не найдет.

Еще одна.

— Ложись!

Еще.

— Ложись!

Заканчивая осмотр станции, наткнулся на четвертую бомбу. Нес ее так же — на вытянутых руках, и был уже подле ворот, когда рванул взрыв.

Афанасьева хлестнуло снежной порошей. Он покачнулся, но устоял. Черная ненавистная коробка лежала на руках. Василий тупо смотрел на нее, пока не сообразил, что взорвалась не эта адская машина, а одна из тех, что успел он бросить с набережной вниз.

Пока, присев на корточки, смолил протянутую кем-то цигарку, грохнуло еще два взрыва. Время последней бомбы никак не подходило.

На станцию приехали сотрудники Петроградской ЧК — им и разбираться в таком происшествии. Следом прибыл отряд подрывников из Кронштадта — они обезвредят последнюю бомбу. Помощнику коменданта больше нечего было здесь делать.

Афанасьев вышел не спеша на набережную. Около ворот стоял прислоненный к каменной ограде станции велосипед Лепника. Василий сел на него и поехал...

...Новый дом на окраине Ленинграда. А убранство квартиры, в которую я пришел, переносит в былое. На комоде никелированная копилка с надписью на крышке — «Накопление — путь к богатству».

Мой собеседник стар. Время долго трудилось над его лицом, черты стали такими жесткими, что трудно представить, каким оно было в молодости. Вот только зачесанные назад волосы, наверное, и раньше так же распадались на прямой пробор, но теперь они седые.

Одет он в синий френч. На груди орден Красного Знамени — тот, прежний, без ленты.

Мы встречаемся уже не первый раз и решаем сразу же продолжить нашу беседу. На столе появляется толстая папка с бумагами — семейный архив. Раскладываем документы. Отпечатанный на толстом картоне с золотым обрезом пригласительный билет: «Николай Афанасьевич и Ирина Аникеевна Афанасьевы просят Вас пожаловать на бракосочетание сына их Василия Николаевича с Елизаветой Семеновной Федоровой...» Рядом ложится фотокопия удостоверения — оригинал ее владелец передал Ленинградскому музею революции. «Товарища Афанасьева Василия, красноармейца отряда Кишкина первого батальона особого назначения 17-й милиционной бригады наградить Знаком Отличия ордена Красного Знамени за то, что во время кронштадтской операции, находясь под ураганным огнем противника, сдерживал наступающие цепи от попытки пойти назад и, ворвавшись в Кронштадт третьей группой, ожесточенно дрался с мятежниками. Орден Красного Знамени № 2124».

Да, я в гостях у бывшего помощника коменданта 3-го подрайона революционной охраны Петроградской стороны Василия Николаевича Афанасьева.

В комнате появляется Елизавета Семеновна. Она подозрительно посматривает на дверь — не сквозит ли. Достает плед, кладет его на колени мужу.

Я привез с собой выписки, которые сделал в архиве и библиотеке, показываю их Василию Николаевичу.

«Коменданту Центральной Комендатуры Революционной Охраны гор. Петрограда. Рапорт. Доношу, что Комендант 3-го подрайонаРевол. Охр. Петерб. Стор. РУДОЛЬФ ЛЕПНИК с 9 сего апреля ввиду его смерти уволен. Прошу вышеназванного Коменданта исключить из списка служащих. Район. Комендант В. Курочкин». В апреле девятнадцатого года газета «Северная коммуна» опубликовала объявление в траурной рамке: «12 апреля на Смоленском кладбище похороны жертвы белогвардейских взрывов на городской водопроводной станции Коменданта 3 подрайона революционной охраны Петроградской стороны Рудольфа Лепника».

— Рудольф Карлович был тяжело ранен, ноги ему особенно исковеркало, прожил он после этого всего лишь несколько дней,— вспоминает Афанасьев.— Навещал я его в больнице на второй либо на третий день после взрыва. А вот на похоронах его не был. Что стряслось в тот день — не припомню, но, видно, не смог, занят был... Три месяца мы вместе с ним работали, и днем и ночью рядом были, а в общем-то ничего друг про друга не знали. Все некогда было. Не помню, чтобы хоть раз один на свободную тему беседовали, просто так по душам поговорили. Не известно мне было, что у него родители живы, наверное, так и не узнали, когда и где сын их погиб. И о том, что женат был Рудольф Карлович, впервые от вас услышал... Теперь не только вам, а и мне понять трудно, как это я мог на похороны своего коменданта не явиться. Все то время, начиная со штурма Зимнего дворца (я в нем участвовал), да нет, раньше, пожалуй,— в первый же день Февральской революции мы полицейский участок подожгли, четвертый участок на Большой Зеленина, дом 27. Одним словом, все годы революции, годы одним днем теперь представляются. Мы как-то с Елизаветой Семеновной припоминали: был ли в нашей молодости хоть один вечер, когда бы мы его вместе без дела провели. Не было такого вечера. Если попал домой — так поспать, сомкнул глаза — будят.

Мы вспоминаем прошлое, вспоминаем вместе: Афанасьев — то, что пришлось пережить, я — то, что удалось узнать. Но и Василий Николаевич как бы со стороны смотрит на события былых времен, как бы комментирует эпизоды — точно, без труда называя имена, фамилии, даты, легко вспоминая названия улиц и номера домов. Эта безукоризненная точность еще более укрепляет ощущение отстраненности в его рассказе, словно говорит не о себе, а о хорошо ему знакомом юноше из революции Васе Афанасьеве.

Мне хочется узнать еще об одном человеке, связанном с комендатурой 3-го подрайона Петроградской стороны, и я пользуюсь паузой.

— Василий Николаевич, в архиве хранится документ об отчислении коменданта, который был предшественником Лепника. Его уволили из революционной охраны за нарушение законности. Вы никогда не слышали, что стало с ним потом?

— Нет, не слыхал... Сгинул куда-то. А вот вспомнить о том разговоре, когда мы с Василием Никитовичем о политике и совести горячо потолковали, вспоминал. За время работы в органах усвоил я для себя очень важное. С бандитами, врагами нашими по-разному приходилось воевать, при этом хитрость нужна была, изворотливость. А все-таки грань человеческой порядочности никогда переступать нельзя. С кем бы ни боролся ты — есть такая грань, и в каждом случае вполне определенная. А коль переступил ее — значит, совесть потерял, и нечего тут на политику ссылаться: не врагу, а самому себе урон наносишь и политике той, которую тебя проводить поставили...

Афанасьев хотел еще что-то добавить, но не смог, махнул рукой — довольно об этом. Волнение сдавило горло, не хватает воздуха, никак не может вздохнуть. Я распахнул окно. Елизавета Семеновна привычными движениями отмеривает лекарство мужу. Потом она расставляет чашки, угощает нас чаем. Мы молчим.

За чаем Василий Николаевич показывает старый номер многотиражной газеты. В нем напечатан портрет Афанасьева, есть и заметка о том, как наладил он работу бухгалтерии комбината. Из петроградской милиции Василий Николаевич ушел еще в двадцатых годах. Плохо себя чувствовал, врачи опасались, как бы не начался туберкулез. Они поддержали Афанасьева в его решении переехать жить на Кольский полуостров. Там начал он трудиться бухгалтером. Спустя несколько лет вернулся в Ленинград — стал главным бухгалтером комбината.

Василий Николаевич как-то заговорил об этом периоде своей жизни, но меня занимали иные события, и мы все время возвращались к ним. Теперь я собирался в обратную дорогу, это была наша последняя встреча, и я решил послушать Афанасьева, не перебивая, стараясь не задавать ему вопросов.

Василий Николаевич вспоминал о том, как нелегко давались ему премудрости бухгалтерии, как ночами просиживал над финансовыми отчетами и промфинпланами, каких трудов стоило добиться исправной отчетности на комбинате и особенно в его филиалах. Теперь он говорил иначе, чем прежде, вовсе не отстраненно, вновь доказывая мне то, что сумел доказать когда-то прежде. Он искренне гордился старым номером многотиражной газеты: опубликованная в нем заметка в несколько строк была признанием его труда, свидетельством его победы.

— В самый канун Отечественной войны поехал я с ревизией в наши филиалы. Война и застала меня на Кольском полуострове. Еле выбрался из-под бомбежки. Вернулся домой — повестка ждет. Собрал вещмешок, явился к военкому, докладываю: «Разрешите на час отлучиться, должен материалы ревизии сдать». Когда узнал военком, что я с Кольского полуострова приехал, удивлялся все — кому теперь нужны эти материалы. Однако отпустил...

— После такой трудной, но интересной работы в прежние годы бухгалтерская деятельность не казалась вам скучной?

— Ну, что вы, эту работу я очень любил. Потом вы, наверное, не представляете, какая ответственность огромная. Я же в Петроград деревенским мальчишкой приехал. Помню, увидел в первый раз красную икру и решил, что это сладкое блюдо. А вот стал главным бухгалтером.

Мне казалось, что я начинаю понимать собеседника — юношу из революции Васю Афанасьева, главного бухгалтера Василия Николаевича, кавалера ордена Красного Знамени, пенсионера Афанасьева.

Среди других документов бывший помощник коменданта сохранил ордер — он лежит теперь на столе, отпечатанный на пишущей машинке, скрепленный подписями и печатью. Это ордер, выданный В Н. Афанасьеву на право ареста — от руки вписано: «любого лица в пределах Петрограда» и обыска квартиры — снова от руки: «в пределах Петрограда». Особые полномочия! К ним вынуждало особое время — Революция. В такие минуты люди могут и должны поступать согласно предложенным обстоятельствам. Так поступал Афанасьев, и ровно столько, сколько была к тому необходимость. А когда отошла она — легко и без сожалений расстался с особыми полномочиями.

Да, Афанасьев — участник штурма Зимнего.

— В ночь заступили мы на охрану Троицкого моста,— рассказывал он мне.— Потом снялись и бегом через Марсово поле, по Миллионной улице. Заняли позицию на Дворцовой площади, неподалеку от Александровской колонны. Несколько часов провели здесь — и снова за работу. Настроение было великолепное.

В ту ночь — ночь исторического штурма, когда отряд Василия Николаевича занял позицию подле Александровской колонны, Афанасьев, наверное, не отдавал себе отчета, что участвует в событии, которое станет великим примером, разделит все человечество на тех, кто будет рукоплескать ему, и тех, кто проклинать. Но и позже, когда все это стало очевидным, он не высчитывал своей доли, не требовал и не ждал вознаграждения, которое хоть в самой мизерной части могло бы сравняться с тем, что вкладываем мы в понятие — штурм Зимнего. Иначе он отравил бы себе жизнь, старость, полагая, что все и всегда перед ним в неоплатном долгу...

У людей, подобных Афанасьеву, не было какого-то отдельного, персонального счета к революции, отягощенного надеждами на личное процветание и благополучие. Их счет совпадал с общенародным. И все происходящее в последующие годы — ликбезы, рабфаки, первенцы индустрии, тракторы в деревню — все это было подтверждением того, что счет их постоянно оплачивается.

Расследование диверсии, которая была совершена 30 марта 1919 года на водопроводной станции Заречной, было поручено лучшим сотрудникам Петроградской Чрезвычайной Комиссии Михаилу Васильевичу Васильеву и Николаю Максимовичу Юдину. Они закончили свою работу 8 апреля. (Ленин был еще жив.) В заключении по делу Юдин писал:

«Мною, совместно с товарищем Васильевым, были приняты все меры к раскрытию злодейского заговора, но, опросив массу лиц, как рабочих, так и служащих, мы пришли к выводу, что виновников этих взрывов найти не представляется никакой возможности, ибо никаких следов, ни тени подозрения ни на кого не падает... Раскрыть настоящее преступление может только какая-нибудь случайность, а посему мы решили дело следствием окончить, дабы не отрываться от других дел».

Не отрываться от других дел... Спустя три с половиной месяца, 13 июля 1919 года, газета «Петроградская правда» опубликует — «Памяти товарищей Васильева и Юдина»:

«Еще два имени честных коммунистов прибавилось к именам товарищей, сделавшихся жертвами борьбы за коммунизм. 9 июля члены коллегии Петроградской Чрезвычайной Комиссии Михаил Васильевич Васильев совместно со следователем Николаем Максимовичем Юдиным, разбирая вещи, отобранные у белогвардейцев, почувствовали себя дурно и через несколько часов скончались. После расследования оказалось, что товарищи Васильев и Юдин сделались жертвой удушливого газа, находившегося среди разбираемых ими вещей в одной из склянок... Не случайно склянка удушливого газа белогвардейца вырвала из наших рядов товарища Васильева и товарища Юдина, она предназначалась для революционеров и достигла своего назначения.

Их смерть усилит только нашу энергию в борьбе с врагами пролетариата, и на могилах их мы скажем: спите спокойно, дорогие товарищи, не законченное вами дело в надежных руках».

Я хочу, чтобы мы вместе посидели ночь в экспериментальном зале Серпуховского ускорителя. А потом посидели еще полчаса на солнышке в лесу, окруженном домами. Раскрыли школьный учебник и статьи моих коллег. И задумались над невидимым миру слезами физиков. Над парадоксом современного познания.

Ким БАКШИ

«СЕРПУХОВСКОЙ ЭФФЕКТ»

Рисунок И. ОФФЕНГЕНДЕНА.

КАК РАБОТАЮТ ФИЗИКИ. 8 ЧАСОВ ВЕЧЕРА

Сверху экспериментальный зал кажется железным безлюдным лабиринтом, ни на что привычное не похожим. И обитаемыми островками стоят в нем домики экспериментаторов.

Я сижу в низком кресле на перекрестке этой маленькой стальной квартирки, и мне сразу видно все, что происходит в каждой из трех комнат. Но внешне ничего не происходит. Молчаливы железные ящики по стенам, только иногда освещаются круглые дырочки на панелях, словно иллюминаторы. Свешиваются разноцветные провода, свиваются в косы, идут по потолку, исчезают в других железных ящиках.

Как раз передо мной склонился над развернутым толстым журналом экспериментатор Анатолий Серафимович Вовенко; виден его нестриженый затылок, волосы мягко курчавятся.

— Где окончание программы, Серафимыч? — зовет его из соседней комнаты инженер Володя Глебов. Но такая старообразная форма обращения ничего не говорит о возрасте Вовенко. Ему едва ли больше сорока, хотя в мертвенном сиянии ламп дневного света его лицо кажется лишенным красок, рано постаревшим.

Вовенко сидит за маленьким канцелярским столиком, на котором, кроме его журнала — типичной амбарной книги,— я вижу термос; в нем — кипяток для кофе. Мне предлагали выпить «чашечку»: на этот случай рядом с термосом приготовлено несколько граненых стаканов с алюминиевыми ложками в них. Но кофе нужно беречь: впереди ночь. Хотя, судя по тому, как пока идут дела, и без кофе спать никому не захочется. Дела не ладятся.

Володя Глебов сидит перед пишущей машинкой телетайпа, смотрит на клавиши, где вместо букв цифры и разные математические символы, и говорит задумчиво:

— Чего я не понимаю, так это почему программа не работает!

— Та была проще,— откликается, не поднимая головы, Вовенко.

— Так, может быть, мы выкинем что-нибудь и попроще введем?

Глебов подходит к Вовенко, в широких ладонях неся бумагу с программой электронно-вычислительной машины, и между ними начинается тихий разговор. Потом Глебов снова садится за клавиатуру и начинает вводить измененную программу в машину.

Он осторожно нажимает пальцами клавиши и без всякого выражения смотрит немного вбок и вверх, где на панели, как зеленый глаз, моргает экран: возникает и исчезает картинка. Это электронно-вычислительная машина показывает человеку, как пролетели частицы, выведенные из кольца ускорителя, как пересекли электрические нити счетчиков. Глебов нажимает мягко светящуюся клавишу под экраном, посылает запрос, и на зеленой траве экрана ответ ему теперь рисуется в виде причудливой горки.

Застрочил телетайп. Глебов с новым листом бумаги подходит к Вовенко. Видно, они ничего хорошего не ждут от результатов. И правда, они читают, молча.

— Ты знаешь, у нее странная выдача суммы.— Глебов вообще об ЭВМ говорит как о третьем, самостоятельном участнике эксперимента.

— Да, все плохо стало.— Вовенко снимает трубку, набирает номер американского ученого, работающего на этой же установке, но в другой смене.

«ДАВАЙ ОТКРЫТИЯ!»

...Академик Курчатов набирает номер, звонит своему ученику в Дубну. Через несколько часов — 1951 год. Настроение новогоднее.

— Мишель? Физкультпривет! Ну что, открытия есть? — Слушает ответ. — Достижения есть... Это хорошо, но давай открытия!

О чем идет речь, о каких открытиях?

Об открытиях в самой сокровенной глубине материи.

Попробуйте-ка сегодня сказать физику, работающему в этой области, пусть даже пошутить под Новый год: «Давай открытия!» Не примет он такой шутки, не найдет в ней ничего смешного. А ведь Курчатов-то говорил серьез-

ние, которое он испытывает всякий раз, когда вы что-нибудь не понимаете, словно это он виноват.

Л. Д. Соловьев недавно стал директором Института физики высоких энергий вместо академика А. А. Логунова, избранного вице-президентом Академии наук СССР и оставшегося научным руководителем института.

С новым директором мы говорим о предметах сугубо теоретических. О «Серпуховском эффекте».

Лев Дмитриевич берет листочек бумаги, обычную белую карточку для заметок, чертит на ней кривую линию: сначала она идет как пологий спуск и лишь в самом конце начинает загибаться. Вот, собственно, и все, вот это и есть важнейший результат, неожиданный, необычный. Предполагалось, эта линия пройдет вот так, без загиба. Но вот она устремилась вверх.

Я вспомнил огромную массу ускорителя — не точность его аппаратуры, не начиненность электроникой, а почему-то именно общую его массу, размеры зданий, ускоряющего кольца, которые вовсе не есть самое удивительное в нем, я понимаю. Но по странной логике я вспомнил именно это и подумал: как спокойно и просто сказано! Да, да, это и есть итог нескольких лет работы огромного комплекса ускорителя — кривая начала слегка загибаться вверх.

И я знаю: известные физики у нас и за рубежом считают, что уже одним этим результатом, если бы не было ничего другого, оправдано строительство Серпуховского синхротрона.

Эти же результаты (кривая еще круче загибается!) в более высокой области энергий спустя некоторое время наблюдались в Европейском центре ядерных исследований — в Швейцарии — на встречных пучках. А когда начал работать в Батавии (США) рекордный сейчас ускоритель, то группу советских физиков пригласили провести на нем при более высоких энергиях серпуховской эксперимент. В результате была получена кривая, которая удивительно хорошо стыкуется. продолжает серпуховской «загиб».

Сейчас в мире множатся работы теоретиков, так или иначе посвященные «Серпуховскому эффекту». О кривой, которая загибается, спорят на международных конференциях, симпозиумах, семинарах. Спорят о том, как ее понимать, как трактовать.

Раньше было замечено, что с увеличением энергии частицы все больше начинают терять свою индивидуальность, как бы тяготеют к некоему универсальному закону поведения. И некоторые теоретики предсказывали: чем большей будет энергия элементарных частиц, тем это правило будет все более точно выполняться. И так для сколь угодно высоких энергий.

Что же значит эта схожесть поведения? Как ее трактовать? Что общего может быть у частиц и античастиц, у протонов, мезонов, гиперонов, различающихся между собой массой, зарядом, временем жизни, моментом вращения и еще многими признаками? Эта схожесть может быть в одном: они ведут себя как неделимые частицы. Это значило бы, что, сколько ни вращай колесики воображаемого микроскопа, ученые никаких более мелких структур в частицах не увидят. Они ни из чего не состоят. Опуская якорь в глубины материи, мы наконец достигли дна.

Так вот, комплекс исследований на ускорителе в Серпухове впервые показал, что снова дно не достигнуто; «Серпуховской эффект» означает, что открылась новая глубина и в ней видно «нечто». И первый вывод: элементарные частицы не элементарны! В них замечены какие-то структуры — внешняя и внутренняя. Что они представляют собой (оболочку, ядро?), неизвестно.

НА НОВЫЙ ВИТОК

Но, к сожалению, точно известно, что энергии Серпуховского ускорителя не хватает, чтобы рассмотреть строение элементарных частиц. Сколько ни вращай колесики серпуховского гигантского «микроскопа», он не сможет обеспечить необходимое увеличение.

А что, если и ускоритель в Батавии также окажется недостаточно сильным, чтобы дойти «до дна материи», и лишь еще увеличит число непонятных явлений? Нужно строить новый, во много раз более мощный ускоритель.

Кто же соберется с силами и построит его? Ученые, инженеры Института физики высоких энергий думают об этом. Они понимают, что отставание в теории в век научно-технической революции обходится дорого — дороже, чем строительство нового ускорителя. И вот творцы Серпуховского синхротрона готовят грандиозный и в то же время технически реальный проект сверхускорителя, для которого теперешний играл бы роль инжектора, то есть своего рода стартера, запальной свечи, спички, которая поджигает костер. Сверхускоритель мыслится не просто «больше чем» — это прыжок через все существующие ныне масштабы.

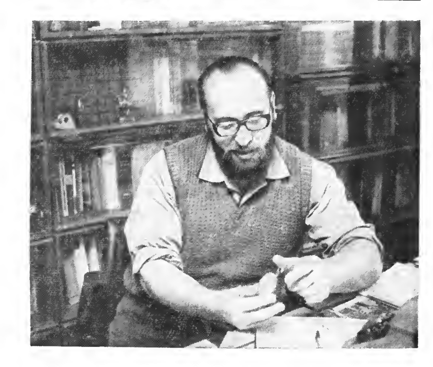
А может быть, не надо строить новые ускорители? Может, хватит старых? Такое сомнение имеет свои резоны. Ведь может быть, в уже имеющихся экспериментальных данных содержится ответ на вопросы, мучающие ученых. Только они не замечают его, проходят мимо. И когда будущий гений откроет фундаментальное строение материи. ученые кинутся к старым материалам и скажут: «Вот же оно! Мы тоже видели его. Как же мы не замечали!..»

Но все дело в том, что, по-видимому, гению обязательно нужен новый, еще больший ускоритель. Нужен, чтобы новая теория могла возникнуть. Есть какая-то грань, еще непонятный минимальный уровень знаний о мире и о материи, которого обязательно должно достичь человечество, прежде чем появится скромный служащий патентного бюро С. Альберт Эйнштейн.

Представьте себе дорогу. Обычный горный змеевик где-нибудь на Кавказе, вьющийся сквозь леса, петляющий меж отрогов. У него есть особенность: на каком-то участке витки сближаются, и вдруг становится отлично различим более высокий уровень дороги, видны подробности вплоть даже до камешков, до знака. указывающего поворот, до полосатых столбов ограждения. Но, чтобы достигнуть этого места, этого уровня, надо прежде поехать назад (все время поднимаясь), где-то завернуть, выйти на следующий виток и только затем постепенно добраться до точки, которая снизу казалась такой близкой.

Если познание наше восходит по некоему серпантину, не могли разве ученые пятидесятых годов ясно увидеть сблизившийся участок спирали, находящийся на более высоком уровне? Увидеть и принять за следующий шаг? Потому-то, наверное, академик Курчатов радостно торопил с открытиями; ему казалось, что очень скоро заработают реакторы управляемого термоядерного синтеза, откроется во всей своей стройности и красоте здание теории микромира.

Но в познании нельзя перескочить с одного витка на другой. Надо пройти весь путь. За сколько месяцев, лет? Как можно сказать это о дороге, по которой еще никто никогда не ходил?..



Юрий
ВЛАСОВ

СПРАВЕДЛИВОСТЬ СИЛЫ

Спустя три года после Олимпийских игр в Токио я был приглашен участвовать в торжественной церемонии Спартакиады народов СССР. Я всегда отказывался от подобных приглашений. Я считал достоинством победы, но не церемонии в их честь. Но в этот раз согласился. Эта церемония была для меня как бы прощанием со спортом. Горьким прощанием. Я ожидал не такого...

Я знал, каким должно быть мое будущее, но оно у меня не ладилось. Тогда зачем же я бросил спорт? Зачем обворовывал ради этого будущего свои тренировки? Смогу ли писать? Не обольщаюсь ли? Может быть, стоит вернуться — еще не поздно, и у меня все шансы снова стать первым...

Я очень медленно вел машину, когда возвращался домой с торжественной церемонии. Я старался взять себя в руки. Я твердил: «Москва слезам не верит». Всю жизнь я боялся быть жалким....

Тренировки в тот год не получались. В течение дня температура у меня поднималась до 37,5 градуса. С марта по июль я вынужден был тренироваться с этой паршивой температурой. Только спустя шесть лет я узнал причину: сухой плеврит. А тогда врачи сходились на ее неврогенном характере.

К августу я должен был пройти свои самые объемно-интенсивные тренировки. Я не смел делать себе скидок. Борьба на Олимпийских играх в Токио требовала наибольшей силы. К тому времени опытным путем я нашел много нового в тренировках. Научился управлять своей силой. Рассчитывал на эффект этих тренировок. За годы в спорте через мои руки прошло более двадцати тысяч тонн «железа». И я включился в тренировки, эти лихорадочные температурные тренировки. Каждая неделя приближала день поединка. Никто ждать меня не станет! Время! Время!..

Что за тренировки с температурой! Я был разжижен пóтом, слабостью, напряжениями многих часов. Я мечтал о воде: пить, пить!..

Я вынужден был всеми возможными средствами поддерживать собственный вес. Потеря веса недопустима. Потеря веса — это неравная борьба на помосте. Я возненавидел пищу. Пища вызывала у меня отвращение. Дни напролет занимали тренировки и тяжелый глубокий массаж, от которого пьян усталостью, как от хорошей нагрузки.

Результат, с которым я выиграл предыдущий чемпионат мира, уже не обеспечивал первого места в Токио. Я должен был набрать новую силу. Графики, в конце которых значились цифры предполагаемых результатов, требовали скрупулезной точности. И я день за днем выбирал кривые этих графиков на помосте в тониах злого, строптивого «железа»...

Я не новичок, от которого жизнь потребовала больше, чем он может. Это было мое дело. Я был подготовлен к нему. И верил в победу. Большой спорт в своем конечном выражении исключает окольные пути и ложь — в этом его привлекательность. Борьба

развязывает все узлы. Я должен был держаться. Я верил в справедливость силы.

18 октября — день выступления тяжеловесов на Олимпийских играх — должен был стать моим последним днем в большом спорте. Я не мог уже тянуть два дела: «железо» и литературу. Пусть мою еще очень маленькую литературу, но такую же жадную, эгоистичную на энергию, волю, мозг, как и всякое любимое дело. Необходимость требовала, чтобы я оставил спорт. Эта вторая жизнь с ее интересами, нагрузкой, испытаниями подтачивала тренировки. Мышцы питала усталая кровь. Большому спорту нужна твоя жизнь целиком — тогда победы, тогда движение к победам.

Я пробивался к своему последнему дню. Расточал силу ради этого дня. 18 октября я сброшу гнет «железа». Прощай, «железо», поединки, соперники, залы!

Я кое-как склеивал свои тренировки. Скрипуче, надсадно выиграл чемпионат Европы. Такая победа грозила поражением в Токио.

Варшава — мой первый чемпионат мира, потом Рим, Вена, Будапешт, Стокгольм, а теперь Токио! Дни, недели, месяцы наедине с «железом», опробование новых методов тренировки, испытание этих тренировок на себе, поединки с Брэдфордом, Шеманским, рекордами Андерсона и своими рекордами — все это оставило свой след. Я впервые начал ощущать сонливое безразличие. Теперь мне ясно: я не восстанавливался от тренировки к тренировке. Большая усталость стерегла меня. Я мучал себя вопросами: «Разве дело в рекордах? Кем я был? Кто я? Куда иду? Зачем? В чем моя победа?..»

Выцветшее от зноя небо, травы, поваленные ливнями, прозрачная вода на плесах, солнце, истекающее жаром, молочная гладь рек в рассветах, черная масляиистая вода заводей, запахи земли — все это было уже много лет только мечтой. Вся жизнь была сведена к помосту, выгодам тренировки, эгоизму силы. Я дрессировал себя расчетливо, беспощадно, как механизм, который знаю до тонкостей. Боли, болезни, настроения не имели значения. Я выбирал назначенные нагрузки. Жизнь измерялась количеством пройденных тонн.

Неуютно и тоскливо чувствовал я себя в те месяцы. Я держался с нарочитой уверенностью. Никто не должен догадываться, какой я и что с силой. Я должен всех держать на дистанции — тогда проще на помосте. Тогда не так наседают.

О болезни я никому не говорил. В большом спорте имеет значение лишь твоя способность вести борьбу. Строить мученика даже перед самим собой у меня не было времени. Я был занят одним вопросом: наберу ли нужную силу, когда пойдет эта сила, не ошибся ли в планах.... Просчет означал бы поражение. Кривые графиков тренировки все время стояли в памяти. Я прикидывал их, пересчитывал. Нет, сила обязана была реализоваться в срок.

«Железо» съело кожу на ладонях, один багровый синяк запекся на шее, мышцы сковывала усталость. Я не верил ей. Я знал ее. И все же было трудно вот так холодно, умом ждать ту силу. Освобождение от усталостей тоже было запланировано: где-то в конце рабочих циклов кривые графиков сходили с ума, ползли вверх, проваливались. Здесь должна пойти сила. В линиях можно было увидеть тот спад — спад, за которым очнется сила, резкость и точность ляжет в мышцы.

Я отказался от чемпионата СССР. Я не страшился проигрыша, да и не мог проиграть. Просто не хотел ломать хода тренировки. Надо было тогда выводить себя из нагрузок, а это значит не добрать силу к главному соревнованию — Олимпийским играм. Поражение мое или Жаботинского на чемпионате могло вообще вывести из строя одного из нас. Мы столкнулись бы в бескомпромиссной борьбе. Газеты ждали, публика ждала, и каждый из нас ради победы пошел бы на все. Я не стал бы щадить себя, но и соперника загнал бы на запредельные веса. Ни одного килограмма я не уступил бы даром.

Мой отказ был в интересах дела. Следовало набрать силу и сберечь себя для главной борьбы. Ради нее были все эти годы... И будто отвесили пощечину, когда я прочитал отчеты о соревнованиях на чемпионате в Киеве. За газетными строками угадывались упреки в трусости. Что это, невежество репортера или предумеренность? Я не находил себе места...

Всегда нелегко было моему тренеру, а в эти месяцы особенно. Мы были преданы друг другу. Боль одного была болью другого.

Толчковое движение было моим любимым. Но именно потому, что оно было природным и в нем я был особенно силен, я его практически и не тренировал. Выступал я редко, потому что считал самым важным наращивание силы, поиск силы, познание силы. Каждое же соревнование выводило из нагрузок, потом приходилось отдыхать. А весь смысл наращивания силы был в непрерывности работы. Меня упрекали в капризах, но я просто не мог сорить временем. Его было так мало!

Я выступал обычно на чемпионатах СССР, мира и для проверки силы и «притирки» к публике — еще на каком-нибудь соревновании. И перед каждым из этих соревнований я проводил две, три, иногда четыре толчковые тренировки, и все! Силу же я брал во вспомогательных упражнениях — тягах и приседаниях. В них я работал много. Однако больше половины времени и затрат энергии приходилось на жим. По своей природе я не приспособлен к жиму. Я возмещал это чрезмерной работой.

Так до конца жизни в спорте я не использовал своих возможностей в темповых упражнениях, особенно в толчке. Жим пожирал время и силу. И к тому же... в ту пору многие атлеты овладели приемами «технического» жима, то есть жима не за счет чистой силы рук, а различных ухищрений: колебаний корпусом, ударами по грифу грудью, поддачей грифа силой ног — и все это так быстро, что судьи не успевали фиксировать нарушения, иногда не хотели...

Я не умел так работать. Но это ничего не значило. В расчет принимался конечный результат. Прийти к нему можно было разными путями. Конечно, тренировка «технического» жима требовала гораздо меньших затрат, высвобождая энергию для других упражнений. Кроме того, выполнение «технического» жима было особенно эффективно при большом собственном весе. Все это я должен был учитывать.

К августу лихорадка оставила меня. Расчеты тоже не подвели. В мышцах созревала большая сила. Очень большая.

Я стал ощущать себя легче и легче. «Железо» теряло свой вес. Я управлялся шутя с весами, которые еще несколько месяцев назад могли сломать меня. И технически я работал все совершеннее. Я не удивлялся. Я знал: совершенство и легкость приходят от силы.

3 сентября я установил в Подольске новые рекорды — по тому времени внушительные. Я тренировался отдельно, не с командой. Курынов (Александр Ку-

рынов на Олимпийских играх в Риме победил «железного гавайца», восьмикратного чемпиона мира Томаса Коно, но мы с Сашкой сдружились еще до Рима) позвонил мне и сказал, что известие о рекордах задело Жаботинского. Это тоже входило в мои планы. Соперника надо ломать до соревнования. Надо добиваться такого превосходства, чтобы он не верил в свою победу, боялся поединка, нервничал, изводил себя ненужными дополнительными нагрузками, терял силу.

Теперь все рекорды были моими. Я был хозяином силы. Я уже примеривал свою последнюю золотую медаль.

От тренировок вместе с командой я отказался. Несколько месяцев мне делали внутривенные и внутримышечные инъекции. Я чувствовал себя скверно. В этих условиях я не мог поехать на сборы. Кроме того, два тяжеловеса в одном спортивном зале на несколько месяцев — это многовато. Любой подход к штанге на тренировке будет как бы частью соревнований. Хотели мы или не хотели, но мы втянулись бы в соперничество, загоняли себя все большими и большими весами, сжигали бы ненужным напряжением на малых весах. Я не смел рисковать. К тому же у меня был опыт выступления с Жаботинским в Стокгольме, когда он караулил каждый мой шаг...

Мое решение вызвало раздражение главного тренера команды А. Воробьева. С Воробьевым я выступал на чемпионатах мира в Варшаве, Риме, Вене. Воробьев был беспощаден к себе и ко всем, кто стоял на его пути. А всех, кто не соглашался с ним, он относил к этому числу. Воробьев исключает правоту чужих решений. Он всегда искренне убежден, что правда — одна-единственная, и она у него. Отношения наши всегда были не лучшими, особенно после Олимпийских игр в Риме. Теперь же они стали очень тяжелыми. Воробьев считал, что я капризен и эгоистичен, а потому и тренируюсь в отдельности от всех.

Я уже давно избегал сборов. Я хотел научиться писать. Знал, что у меня не будет другого времени для учения, и снес тренировки на вечер, а утрами работал. Много работал. И, конечно, вечером уже был не тот на помосте, но другого выхода не существовало.

Воробьев не верил и считал, что я пренебрегаю коллективом. В этом он старался убедить и команду. А команду в то время пополнили новички: Голованов, Куренцов, Вахонин, Каплунов. Я чувствовал себя одиноко. Но это были последние дни. Еще шаг — и прощай спорт! И я набирал нагрузки, пробовал силу. Ждал и верил в справедливость силы.

Жаботинский прогрессировал не только в результатах. Он форсировал увеличение собственного веса. При весе в сто тридцать килограммов он не представлял для меня угрозы. При весе около ста сорока пяти килограммов я стал замечать его силу. Когда его вес приблизился к ста шестидесяти килограммам, он стал посягать на мои рекорды...

Я для себя исключал подобный путь. Я верил, знал, что есть тренировка, за которой настоящая сила, надо искать ее, пробовать, снова искать. Классный результат требует гармоничности силы, исключает все, что препятствует наиэффективнейшему выполнению движения. Я не мог представить силу — великую силу борьбы,— обезображенную излишним весом, задушенную ожирением и одышкой. Я поставил предел увеличению своего веса. Я принимал вызов, обращаясь к тренировке. В тонких «железа» я искал кратчайшие пути к силе. Нужно лишь не жалеть себя, искать, искать!..

Я понимал, что значительный собственный вес уже сам по себе дает преимущество в борьбе. Но понимал, что это преимущество от того, что результаты пока игрушечные. Спорт еще на подходе к настоящим результатам. Нужны десятилетия, чтобы подойти к ним. И вот на тех результатах лишний вес станет обузой. Истинно большие результаты потребуют максимальной приспособленности организма к борьбе с «железом». Максимальная приспособленность — это гармоничность развития. Всякий излишний вес — это больная сила.

И я метался в тренировках. Перебирал тренировки. Пробовал. И поиск выводил меня на новую силу. Но меня уже не хватало.

Тренером Жаботинского стал А. Медведев. Это тоже следовало учитывать.

Медведев знал обо мне все. Он был атлетом, которого я лишил побед в самый расцвет его силы. Долгим был его путь к этим победам...

Потом Медведев готовил свою диссертацию. Он уже не выступал. Тренировку за тренировкой он высиживал в зале ЦСКА. Он изучил мои тренировки, мой характер, мои слабости. Я был открыт для него. Теперь он стал тренером Жаботинского. Правда, Медведев держался по-джентльменски, но мне от этого было не легче.

Новые условия борьбы заставили меня строже относиться к себе. Но тренировался я самозабвенно. Я свято верил в справедливость силы. Я еще не усвоил тогда, что бывает сила, которая вполне обходится без справедливостей. Нужны были уроки...

На чемпионате мира в Стокгольме Жаботинский отобрал у меня рекорд в рывке. Я работал стилем «ножницы». Мои массивные ноги не успевали выполнить разножку, и вес припечатывал колено к помосту. Но я чувствовал себя сильнее Жаботинского в рывке, хотя в этом движении он искуснейший из атлетов. Однако я полагался на свою силу — никто из атлетов не мог работать на моих тренировочных весах в тягах и приседаниях. Мой тренер убеждал меня срочно перейти на новый стиль. Без перехода на этот стиль выполнения рывка я ставил себя в слишком неравные условия. Выгоды «низкого седа» очевидны. Сейчас уже никто не работает «ножницами». И я рискнул... В октябре я начал отрабатывать «низкий сед». Несколько раз травмировался, но в январе уже смог вернуть себе мировой рекорд.

Именно это упражнение подвело меня в Токио. Десять лет я поднимал вес в рывке «ножницами». Навык был доведен до автоматизма. Я не думал, как поднимать «железо». Все само складывалось. А теперь совершенно новый прием работы. Но я считал, что успею закрепить навыки. И ошибся...

Я стоял за кулисами. Ребята, тренеры поздравляли меня с победой. Жаботинский отказался от борьбы после первого подхода в толчковом движении. Я решил использовать свои попытки для установления нового мирового рекорда. Тогда бы я выиграл Олимпийские игры с рекордами во всех трех движениях. Настоящая победа! Последняя победа. Я хотел уйти не только непобежденным, но и с доказательствами того, что ухожу по доброй воле, не уступаю чужой силе, что у меня есть будущее, но я сам отказываюсь от него.

Подошел Жаботинский, сказал: «Слушай, я больше не сделаю ни одного подхода. И давай ты тоже. Идет?»

«Не могу,— ответил я.— Я выступаю в последний раз. Я уже установил два рекорда. Попытаюсь и в толчковом движении снять рекорд».

Жаботинский проиграл мне в жиме. В раздевалке

он мне говорил, что тоже устал от спорта и бросит его. Накануне он всем говорил, что будет первым, сейчас отказывался даже от спорта. Значит, борьба смяла его — я так понял.

Потом Жаботинский снизил начальный подход в толчковом движении — для меня еще одно бесспорное доказательство его крушения. Когда дерутся за первое место, наоборот, завышают подходы. Атлета трудно удержать. А тут сам атлет снижает свой начальный вес. Это ли не доказательство отказа от борьбы?..

А тут еще эти слова: давай не выступать больше... Эти слова окончательно определили мою оценку противника. Для меня стало ясно, что он сломлен, или, как говорят атлеты, «накормлен железом». И я сбросил его со счетов. Я спокойно назвал тренеру цифры двух оставшихся подходов. Я мог бы установить другой промежуточный вес и обезопасить себя наверняка. Тот промежуточный вес я уже брал не один раз и зафиксировал бы уверенно. Тогда Жаботинский вообще не мог угрожать мне. Но в том-то и дело, что я уже не считал его соперником. Все факты выстраивались один к одному, и вывод следовал вполне определенный: Жаботинский из борьбы выбыл. Для меня он фактически признал свое поражение.

Я назвал цифры подходов, думая лишь о рекорде. Я подчинил соревнования интересам рекорда — пристрелке промежуточным весом к рекордному, наивыгоднейшей разнице между промежуточным весом и рекордным. Рекордный вес не должен ошеломлять тяжестью. Я как бы накатывался на него через оптимальные весовые промежутки.

В эти последние мгновения я не мог мелочиться. Да и, признаться, в борьбе не умел это. Большой вес был всегда для меня вызовом, и я принимал его. Какие-то другие расчеты в эти мгновения уже не могли прийти в голову, если решено атаковать рекорд...

Я прислушивался к мышцам. Находил команды для мышц. Взводил свою волю. Наполнялся безразличием к возможным болям и сопротивлению «железа».

В жиденьком желтом свете за кулисами стояли я, тренер и массажист. Все другие участники уже прекратили выступления. Среди них американский атлет Норберт Шеманский — мой противник на многих чемпионатах. Атлет, который выступал еще на Олимпийских играх в Лондоне — шестнадцать лет назад. Соратник великих атлетов: Джона Дэвиса, Пауля Андерсона, Томми Коно...

Массажист втирал растирку. Тренер промокал пот полотенцем с поясницы. Я старался напустить расслабленность на мышцы, чтобы они стали дряблыми. Мягкая мышца — самая результативная.

Много недель ожидания изнурили. Я чувствовал усталость. Мышцы казались слабыми — я не чувствовал себя способным к борьбе.

Эта усталость! Я уже давно перестал верить ей. С того времени, как я перестал ей верить, я и начал выступать уверенно. Тогда я сделал свой первый шаг в умении владеть собой...

Я уже был научен причудам усталости. Я исключал все чувства и мысли об усталости. Я настраивал себя на ритм будущих движений. Пропускал эти движения через себя, чтобы в тот главный момент, когда выйду на помост, освободить энергию всех чувств. Победных чувств. Я знал их и давал им волю, когда шел от ящика с магнезией к штанге. Я уже растворял себя в ярости чувств. Холодной, расчетливой ярости чувств...

В 1957 году на чемпионате Вооруженных Сил во Львове я повредил остистые отростки позвоночника. В посыле, побаиваясь рекордного веса, который захватил на грудь, я вытолкнул штангу неточно. Эта неточность — один из подсознательных приемов страховки. Я не нагружал полностью спину, не замыкал суставы и в любой миг уйти от веса.

Когда штанга вышла на прямые руки, я неожиданно почувствовал, что она весит сущие пустяки. Вес мой! Должен быть моим! Я рванулся под него, но штанга валилась вперед. Я рывками подвигался за ней, стараясь поймать центр тяжести. И вдруг почувствовал, как мягка спина, потерявшая опору в беготне по помосту. Почувствовал боль. Штанга ломала меня, а я медлил. Я рассчитывал успокоить ее. И лишь когда оцепенел от боли и желто, тягуче поплыл свет в глазах, а рот свела судорога, я выскользнул из-под веса. Я опоздал, но могло быть хуже...

С тех пор я потерял уверенный посыл.

В 1958 году я впервые участвовал в чемпионате страны. И снова я сошелся с рекордом в последнем толчковом движении. На этот раз «железо» наказало меня при уходе в «низкий сед».

Сидя на корточках с весом на груди, я слышал, как раздавливается хрящ в коленном суставе и так громко трещат связки, что мне казалось, этот треск слышит весь зал. Однако я снова, как и тогда во Львове, не бросил штангу. Взять рекорд! Зал топал, стонал, радуясь рекорду. И я полез с весом вверх. Взять этот вес, удержать! Еще чуть-чуть! Взять!..

Я слышал, как хруст разъедает коленный сустав. Я выпрямился с весом, но толкнуть с груди не смог.

Утром гипс украсил мою ногу от паха до лодыжки на несколько месяцев.

После этих травм, по мнению многих, мне уже не было места в испытаниях большого помоста. Но я стал приучать себя к «железу». Всему учиться заново. Создавать свой стиль работы в темповых движениях, особенно при взятии веса на грудь.

Я уже давно приучил себя не замечать зал. Первый подход — подход для команды — уже сделан. Второй вес тоже взят. Взят шутя. Я был, как говорят атлеты, «в большом порядке». Теперь я должен накрыть этот последний вес. Моя последняя попытка! И все!

Штанга была закручена замками. Не прикасаясь к грифу, я ощутил эту тяжесть, бесшумную в замках, отзывчивую на любое движение. Гриф нравился мне — очень упругий и на хороших подшипниках. Его удобно цеплять на грудь.

Я натер подошвы ботинок канифолью, чтобы ноги стопорились в посыле. На ботинках красной краской были выведены имена побежденных соперников: Андерсон, Брэдфорд, Шеманский, Ашман, Сид, Зорк, Губнер...

Я примеривался к грифу и воспроизводил в памяти движение. Проверял готовность мышц, взводил их командами, отрешался от всего, кроме надвигающегося усилия. Жар опалял меня.

Я не выпускал из сознания самые важные «пусковые» правила: не согнуть руки в тяге, особенно при отрыве веса, снять его плавно с груди, в посыле не клюнуть и подсед сделать короткий... И я напускал на себя легкость. Легкость и величайшая расслабленность! Штангу ведут только назначенные мышцы. Ни в коем случае не закрепощать движение ненужными напряжениями. Работают только назначенные мышцы, и каждая на определенном участке движения веса. Отработав, мышцы должны как бы отпасть от движения, застыть расслабленно.

Я еще не брал гриф. Я выцеливал хват, ширину стартового положения ног, прикидывал положение плеч.

Нет, я не пускал в сознание мысль о том, какой будет тяжесть! Пусть это самый большой вес. Пусть

его никто не брал. Пусть я первый... Но я отучил себя воспринимать все иные чувства, кроме рабочих.

Мышцы подключались уверенно, без сбоев, и вес набирал скорость. Я задохнулся, когда вытянул его в высшую точку подрыва — в этот момент штанга весит намного больше, чем в покое. Все внутри сжалось в ком. И все напряжения были жгуче горячими и каменно твердыми.

Я сделал главное, зацепил вес на нужную высоту. Уход уже не представлял сложностей. Тут самое главное — не смалодушничать, подставить себя под вес, войти под него. И я вошел. Я принял его на грудь мягко и точно. И встал я очень легко. Зал охнул — я это услышал.

Когда вес на груди и ты уже распрямился, нельзя долго стоять. Очень ограничен запас воздуха в легких, а дышать нельзя: разрушишь опору из мышц. Можно только перед самым посылом коротко захватить воздух ртом, но немного, чуть-чуть... И нельзя стоять — мышцы затекают. И вес нельзя перекладывать. Вес уже должен лечь на место, когда заканчиваешь выпрямление, в самый последний момент...

Все это было отработано до автоматизма. В эти мгновения нельзя сомневаться, совсем нельзя, даже тень подобной мысли допускать нельзя. Любая мысль отзывается в мышцах и движениях. Необходимо погонять себя уверенностью — тогда вес много легче...

Я присел коротко, чтобы вес не осадил. И ударил гриф грудью, силой ног. И я поймал его наверху, но чуть впереди и на едва согнутой левой руке.

Посыл не удался в полной мере. Куцый посыл. Сомнения держали на поводке мои движения. Я незаметно для самого себя перестраховался. Все, что было с моими мышцами и суставами до этого — во Львове и на том первом чемпионате страны, мозг помнил. Он по-своему оберегал меня, не пускал под тяжесть. Мышцы-антагонисты притормозили посыл. Штанга билась в руках.

Я тут же стал исправлять ошибку. Коротко шагнул вперед и попытался выпрямить руку. Она заюлила. Я поймал штангу и был под нею, но рука еще не вывела вес, не могла вывести. Я пытался темповым дожатием загнать штангу на место. Это было не безвыходное состояние. В Стокгольме я установил рекорд в гораздо худшем положении. Тогда я просто шел за штангой и дожимал ее на ходу...

Штанга стала ломать меня. И когда я преодолевал ее сопротивление, мелькнула мысль: «Зачем? Ты уже первый! Медаль твоя! Можешь установить рекорд потом. Куда он денется?..» И эта мысль тотчас отозвалась в мышцах. Она сразу разрушила опору. Я выскользнул из-под грифа.

«Ерунда! — решил я.— Все равно уже два мировых рекорда сегодня мои: в жиме и рывке! Я чемпион! Все сбылось! Конец!»

Нет, я еще не знал, что через несколько минут проиграю.

Я уходил с помоста, опустошенный борьбой, немного раздосадованный, но, в общем, довольный. Я сумел вложить наработанную силу в подходы. В рывке я, правда, сорвался и «засох» на первом подходе, но я все поставил на свои места, когда четвертой незачетной попыткой установил мировой рекорд. Если бы этот вес оказался зачетным! Никто бы тогда не посмел даже думать о победе! Я был бы недосягаем! Этот вес сразу прибавлял к моей сумме троеборья целых 10 кг! И ведь я поднял этот мировой рекорд! Он был моим!

Навстречу поднимался Жаботинский. А потом случилось то, чего я не ожидал. Он взял вес, который сразу вывел его на первое место. Откуда эта перемена? Откуда этот взрыв силы? Ведь он сломлен, он не способен к борьбе, он практически выбыл из борьбы! Что случилось? Как это могло случиться?! Как я проглядел эту перемену?! Как это стало вообще возможно?! Однако у меня уже не было подходов для ответа. Справедливость силы...

Потрясение дало себя знать потом, ночью. Уже у себя в номере, расшнуровывая штангетки, я вдруг увидел их. Вдруг как-то отчетливо увидел свои старые штангетки!

Неужели все?! Я не увижу этот зал, зарево огней?! Все, теперь уже все!.. Меня душили слезы. Я швырнул серебряную олимпийскую медаль в окно. Что за глумливая награда? За все эти годы в ярости поисков, в преодолении, в жестокостях борьбы и беспощадности к себе — вот это, серебряный кружок на пестренькой ленточке?! Я отрекался от этой награды, не признавал ее...

Ночь эту отчетливо помню до сих пор. Одиночество той ночи. Черную, хлюпающую мглу за окнами...

«После поражения непобедимый Власов заявляет об отказе от дальнейших соревнований... 18 октября в 19 часов 45 минут (по японскому времени) окончилась безраздельная гегемония Власова. Когда оркестр готовился исполнять советский гимн, побежденный, такой спокойный, словно он был зрителем, поведал нам: «Это последний раз. Я не могу перенести того, чтобы быть вторым. Я хочу быть первым, только первым...»

Я читал много отзывов об этом поединке. Мне приписывали слова, которые я не говорил; чувства, о которых знать, естественно, мог только я, и намерения, которые были вовсе мне чужды, но эти слова репортеру «Экип» я сказал. Когда я их прочитал, мне показалось сначала, что это ложь. Но потом я все вспомнил...

Я стоял в коридоре. Я еще не мог опомниться, когда меня начали фотографировать со всех сторон и засыпать вздорными, обидными вопросами. Всем хотелось знать, какой я после поражения. Такого липкого, настойчивого любопытства я никогда не испытывал. А там, в другом конце коридора, увеличивалась толпа вокруг Жаботинского. Со мной почти никого не оставалось, кроме журналистов. Им важно было сделать материал похлестче. Мне — любой ценой не выдать своего настроения. И тогда я сказал эти слова. Я подчинился первым чувствам, но только в одном желании — не быть жалким, не показаться побежденным. Я не считал себя побежденным.

Какой-то журналист допытывался, напьюсь ли я, если Жаботинский одолеет 600 килограммов.

«А почему бы и нет!» — ответил я. Господи, какие глупые вопросы я выслушивал! Но я не уходил. Нельзя было дать и этот шанс журналистам. Завтра же все спортивные газеты напишут, будто я спасся бегством. Я улыбался и отвечал очень обстоятельно.

На следующий день или чуть позже я прочитал во французской газете «Экип»: «Спускаясь с пьедестала почета, Власов сказал Жаботинскому: «Теперь я ухожу. Уверяю тебя, в один прекрасный день ты достигнешь 600 килограммов. И в этот день у меня рекой потечет водка, я буду счастлив. Ты молодой, попытайся. Никто не сможет угрожать тебе...»

Этого я не мог сказать. Не мог сказать, хотя бы потому, что в тот день, как и долго еще потом, я не склонен был разговаривать с Жаботинским...

Я не стал дожидаться окончания Олимпийских игр и через день улетел в Москву...

Я был действительно в хорошей форме. Мозоли на руках сошли лишь через год...

Справедливость силы, святость побед, поиск силы — слова, слова... Я дал обещание не быть больше атлетом, не смотреть поединки, забыть свое прошлое.

В том прошлом я казался себе выдуманным, книжным сверхчеловеком.

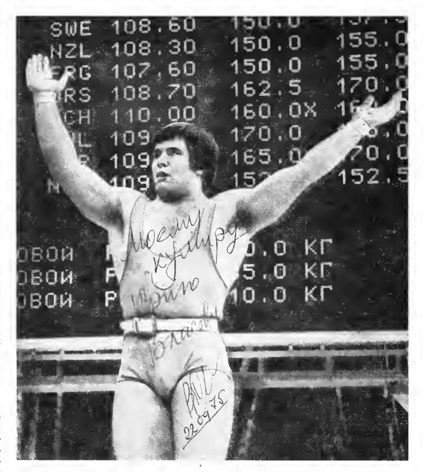
Святость силы, справедливость силы, благодарность силы... Я не читал ничего о соревнованиях. Недоразумением и глупостью считал ту жизнь. Потерянные годы...

Догнать время! Взять это время! Вернуть его исступленной работой! Снова найти себя! Утопить в этой работе память прошлого, излечиться от прошлого, отречься от прошлого. Найти себя. Опрокинуть пошлую истину — твоей единственности в «железе». Есть другая жизнь, огромная жизнь. В ней тонут все прочие ограниченные смыслы. Служить этому общему смыслу.

Слова Верхарна покоряли:

Уйди так глубоко в себя
мечтой упорной,
Чтоб настоящее развеялось,
как пыль!..

А жизнь выставляла меня только атлетом. Честолюбивыми, глупыми и вздорными казались другим мои амбиции. Я погружался в новые испытания.



...Не скрою, мне приятно, что для Христова я не просто «экс»...

Я не был в залах все эти годы. Любое сравнение с атлетом оскорбляло меня. Мне казалось, на меня снова накладывают ограниченность той жизни: только «железо», только помост, только заботы о силе. Нет! Нет!.. Писал же о спорте я лишь потому, что у меня почти не было опыта другой жизни. С 18 до 33 лет я жил спортивной борьбой, боготворил эту борьбу.

Лишь два года назад воровски, глубоким вечером, задворками я пришел в ЦСКА к своему залу. Мне так неожиданно захотелось увидеть его!.. Как далек я был от себя — атлета! И как дороги мне были те годы! Вытравить их из себя я не смог. Наоборот, они приобрели свой новый смысл. Чистой, лишенной фальши, благородной и достойной представлялась мне та борьба...

Жаботинского я увидел 10 лет спустя. Я подготовил к печати дневники своего отца—«Особый район Китая». Позвонил Женя Пеньковский — мы вместе тренировались последние годы — и сказал, что со мной хочет встретиться Жаботинский. И мы встретились перед гостиницей ЦСКА на Третьей Песчаной улице. Приветствия, ничего не значащие вопросы. Я был очень напряжен, я не знал, как поведу себя. Но чувство враждебности не ожило. Наоборот, мне было очень понятно его состояние. Он был самым сильным атлетом, перенес тяжелую операцию, начал тренироваться. А все изменилось. Чемпионом уже стал Алексеев. И Жаботинского переполняли обиды — незаслуженные обиды...

Я слушал его и ловил себя на том, что желаю ему победы. Он был моим товарищем, он проложил себе дорогу тяжкими тренировками и испытаниями. Он поднялся, когда на его силе уже поставили крест, и установил классный мировой рекорд в рывке. Как же эти испытания изменили его! Это был он и не он. Я помнил его совсем другим...

Потом мы встретились у меня дома. Голос его заполнил комнаты. Так громко в моем доме никто не говорил. Это был голос человека, привыкшего к грохоту зала. Он рассказывал о современной тренировке, о своем сыне, о своих планах, об одиночестве и неудачах, об оскорбительности этого одиночества...

Я снова думал о том, как сложно ему. Результаты соперников ушли далеко вперед, и уже сказывается возраст. И я желал ему только одного — победы! Почему? Он атлет, с которым я выступал. В нем как бы была частица меня — моего прошлого. И еще я хотел, чтобы все, кто так быстро ставит крест на нашем прошлом, ошиблись. Я очень этого хотел.

— Не обижаешься за Токио? — спросил меня внезапно Жаботинский. — Что поделать? Борьба. Борьба за первое место, за золотую медаль...

Я растерялся, что-то забормотал. Жаботинский пересел с дивана на кресло поближе ко мне. И кресло, осев до пола, буквально исчезло под ним.

— Я рад за тебя, — сказал Жаботинский. —«Особый район Китая» — интересная книга...

И он начал расспрашивать о книге.

10 сентября прошлого года я получил билет на чемпионат мира по тяжелой атлетике. Я не решился пойти в первый, во второй, в третий день... Я не выдержал и пошел во Дворец спорта на восьмой

день чемпионата. Лужники! Я сжался, когда вошел в зал. Исподлобья, осторожно, я приглядывался к этому залу. Здесь в 1958 году я впервые выступил на международных соревнованиях. Плохо, правда, выступил... Здесь же в 1961 году я выступил на матче сборных команд СССР и США. Здесь устанавливал рекорды...

Вообще я поначалу не умел выступать в просторных залах. У меня нарушалась координация — без близких, привычных стен не за что было зацепиться взглядом. Для координации имеет значение вот такая пространственная привязка. Только потом это потеряло для меня значение...

Я мгновенно стал мокрым, будто выступал сам. Сердце торопилось напоить мышцы кровью. Звон «железа» на помосте отзывался в мышцах...

Все в зале было таким же. Пестрые флаги стран — участниц чемпионата, синевато-белый дрожащий свет прожекторов, встречающий атлета на сцене, и даже голос в репродукторах. Соревнования вел секретарь Международной федерации тяжелой атлетики англичанин Оскар Стейт. Под его слегка гнусавый и невозмутимый голос уже четверть века выступают атлеты.

И помост! Штанга... Я задохнулся беспокойством. Вот сейчас меня вызовут! Какое-то наваждение! Даже голос моего тренера — он сел рядом со мной.

Болгарин Валентин Христов привлек мое внимание. Мальчик, одетый в крупные, но еще незагрубевшие мышцы. И эта чисто юношеская манера выступать — стремительное набегающее движение, в котором жадность борьбы, победы, жизни. И ни тени сомнений, опыта сомнений. Штанга в его руках теряла тяжесть.

В каждом подходе вес возрастал, а он работал так же безукоризненно. А потом мировой рекорд...

Ко мне подошел бывший вице-президент Международной федерации тяжелой атлетики К. Назаров, в прошлом отважный атлет, и попросил вручить призерам чемпионата медали. Я всегда избегал роли «почетного генерала», но вручить медали атлетам... Разве я сам не был атлетом, разве я не отведывал от этих «соленых радостей железа»?..

Я пошел за кулисы. Атлеты готовились к вызову на помост. Сразу же после награждений борьба возобновлялась. Я слышал скороговорку тренеров, лязг дисков, мелькали горячечные лица. Мне объяснили, как я должен выйти и что сделать.

Слева возле занавеса стояли Христов и его тренер и еще несколько человек. Тренер что-то говорил и энергично показывал. Глаза Христова были широко открыты. То, что он увидел сегодня, всего несколько минут назад, потрясло его. Эта победа и отклик зала! И собственная сила, такая вдруг неожиданно-большая, легкая, кажется, весь мир уступает тебе, радуется, зовет тебя. В его облике не было сдержанности, сосредоточенности, свойственной опыту. Он отдавался непосредственным, первым ощущениям, как отдаются большой любви,— без оглядки, в восторге чувств...

Мне вдруг захотелось подойти к нему. Но я сдержался. До того ли сейчас ему. Стоит ли путаться с выражениями своих чувств? А потом я не знаю, какой он. Как поймет. Я все-таки был чемпионом, знал громкие победы, триумфы побед. Почти восемь лет я носил титул «самого сильного атлета мира». И потом я узнал очень многое о силе, и это за мной узнали другие. Я помню, в Вене на афишах чемпионата мира было напечатано: «Выступают атлеты 38 стран и Юрий Власов».

Теперь я «экс» — это очень переменило поведение многих. Я научился спокойно и к этому относиться, но зачем лишний раз вызывать самодовольство чужой силы.

Диктор пригласил на сцену призеров. За призерами вышли мы.

Диктор перечислил участников торжественной церемонии.

Я не ожидал — зал ответил ревом на мое имя. Я напрягся, чтобы скрыть волнение. У меня задрожали руки, потом я весь задрожал. Черный вздыбленный зал в движении, и этот могучий крик: «А-а-а!..» Будто я впервые увидел со сцены зал и услышал крики, обращенные ко мне. Нет, сейчас все было иначе. Все было ярче, значительнее. Я вернулся в зал! Я вернулся в эту жизнь! Я освободился от всего, что загораживает жизнь.

Зал не унимался. Мгновения, в которых годы, в которых прошлое и будущее...

Нет, я атлет! До последнего часа своей жизни атлет. Я принадлежу этим людям. Людям, нарекшим испытания своей судьбой, борьбу — своей жизнью...

За кулисами я снова увидел Христова. Я пожал ему руку и не удержался — потрепал по плечу, руке. Я будто поздравлял его, а в самом деле мне очень хотелось знать, какие у него мышцы. Я умею их читать. Это были очень мягкие, замечательно мягкие мышцы!..

Христов рассеянно улыбнулся. Он не видел меня. Он вообще никого не видел. Он был уже в работе, в притирке к «железу».

В толчковом движении он брал веса, которые до сих пор уступали всего нескольким человекам в мире. А потом взял и тот вес, который в его весовой категории никто не брал. Здесь уже сильнее его не было.

Я знал сильных и самых сильных. Но такую работу мне доводилось видеть всего несколько раз в жизни. Могучее движение, которое сразу же исключало отступление. Можно было только взять вес — характер движения исключал другие варианты и подстрахование в том числе. Он буквально надевал штангу на себя. Вставал без промедления — в ногах скрывался солидный запас силы.

Обычно на предельных весах координация как-то нарушается. Не было этого в работе Христова. Четко нанизывались движения. А уж когда он попробовал абсолютный мировой рекорд в толчковом движении — рекорд атлета второй тяжелой весовой категории, стало ясно, что в этом мальчике редкая сила.

Он вышел на сцену, без промедления стал прилаживаться к грифу. Ничего театрального, истеричного — только сосредоточенная настроенность...

Попытка не удалась Христову, но она уже была, как победа.

И я понял, что ждет этого мальчика-атлета, если он правильно будет работать. Уже одна победа в Москве — событие в истории тяжелой атлетики. Я смею это утверждать. Я был много раз чемпионом мира, знаю, что такое нагрузки, рекорды, прорыв к рекордам. Видел великих атлетов. В Москве работал атлет с почерком великого чемпиона.

Каждый цветок — это само откровение.
Каждая птица — это частица тепла.

Я стихи не пишу. Это написал Валентин Христов. Его мечта — писать. А это, как я убедился, сложнее, чем быть чемпионом.